
Мюриель Барбери
ЖИЗНЬ ЭЛЬФОВ

Жизнь эльфов
Мюриель Барбери

Аннотация
Мюриель Барбери. Жизнь эльфов
Персонажи
Рождения
  Малютка из Испанских земель
  Малышка из Итальянских земель
Лучники
  Анжела. Черные стрелы
  Густаво. Голос смерти
  Вилла Аччиавати. Малый эльфийский совет
  Мария. Заяц и вепрь
  Леонора. Столько света
  Храм Туманов. Малый эльфийский совет
  Евгения. В годину войн
  Рафаэле. Такие слуги
  Храм Туманов. Малый эльфийский совет
  Клара. Пора браться за четки
  Пьетро. Великий негоциант
  Вилла Аччиавати. Малый эльфийский совет
  Отец Франциск. В том краю
  Алессандро. Первопроходцы
  Храм Туманов. Малый эльфийский совет

Андре. К земле
Тереза. Сестры Клементе
Храм Туманов. Малый эльфийский совет
Роза. Посланницы небес
Петрус. Друг
Храм Туманов. Малый состав Совета Туманов Война
Эжен. Все мечты
Совет Туманов. Малый состав Совета Туманов

Аннотация

Героини нового романа Мюриель Барбери «Жизнь эльфов» – две девочки Клара и Мария, это две невероятные судьбы, которых коснулось волшебство. Одна живет в Испании, в селении, затерянном в горах Абруцци, другая – в бургундской деревушке. Обе загадочным образом связаны с миром эльфов. Одна – талантливая пианистка, способная благодаря музыке проникать в незримое, другая наделена особым даром ощущать тайны природы, читать ее знаки, чуять присутствие невидимых созданий. Девочки узнают о страшной угрозе, нависшей над миром людей. Клара и Мария, никогда не встречавшиеся друг с другом, устанавливают между собой связь и, объединив усилия, вступают в битву, от исхода которой зависит и жизнь близких им людей, и само существование человечества.

От автора «Элегантности ежика»! Новый долгожданный роман великолепной Мюриель Барбери «Жизнь эльфов» впервые на русском!

Мюриель Барбери
Жизнь эльфов

Muriel Barbery
LA VIE DES ELFES
Copyright © Éditions GALLIMARD, Paris, 2015

© А. Беляк, перевод, 2015
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2015
Издательство АЗБУКА®

* * *

Посвящается Себастьяну
Посвящается Арти, Елене, Мигелю, Пьеру и Симоне

Персонажи

Бургундия

Ферма «У оврага»
Мария Фор
Андре Фор, ее отец, крестьянин
Роза Фор, ее мать
Евгения и Анжела, двоюродные бабушки со стороны Андре
Жанетта и Мария, троюродные бабушки со стороны Розы

Ферма Марсело
Эжен Марсело, крестьянин
Лоретта Марсело, его жена

Селение
Отец Франциск, кюре
Жанно, почтальон
Поль-Анри по прозвищу **Риполь**, кузнец
Леон Сора-старший, крестьянин
Леон и Гастон-Валери, его сыновья
Анри Фор, по прозвищу **Рири**, лесничий
Жюль Леко по прозвищу **Жюло**, староста селения и старший путевой обходчик

Жорж Эшар по прозвищу **Шашар**, шорник и седельщик

Абруцци

Приходский дом

Клара Ченти

Падре Ченти, ее приемный отец, священник из Санто-Стефано

Алессандро Ченти, младший брат священника и друг Пьетро Вольпе

Старуха-прислужница

Деревня

Паоло по прозвищу **Паолино**, пастух

Рим

Вилла Аччиавати

Густаво Аччиавати, Маэстро

Леонора Аччиавати, его супруга, в девичестве Вольпе

Петрус, необычный слуга

Вилла Вольпе

Пьетро Вольпе, негоциант, торговец произведениями искусства, шурин Густаво Аччиавати

Роберто, его отец (к моменту действия — по-

койный)

Альба, его мать

Леонора, его сестра

Вилла Клементе

Семейство Клементе, богатые римские патриции

Марта, их старшая дочь (покойная), великая любовь Алессандро

Тереза, младшая дочь (покойная), виртуозная пианистка

Римский Капитолий

Рафаэле Сантанджело, Губернатор, Правитель Рима

Мир Туманов

Глава совета Туманов (в облике серого коня/зайца)

Страж Храма Туманов (в облике белого коня/вепря)

Маркус и Паулус, друзья Густаво Аччиавати и Петруса

Элий, вождь неприятелей

Рождения

Малютка из Испанских земель

В свободное время девочка чаще всего сидела среди ветвей. Когда не знали, где она, шли к деревьям. Сначала к большому вязу, что нависал над северной пристройкой и где она любила мечтать, следя за жизнью фермы, потом к старой липе, которая росла в саду кюре возле низкой прохладной каменной ограды, и наконец — чаще всего зимой — к дубам у западного оврага ближнего поля, где на взгорке высились три таких исполина, краше которых во всем крае не найдешь. Малышка просиживала на деревьях все время, которое могла урвать от деревенской жизни, состоявшей из учебы, еды и походов в церковь. Порой она брала с собой каких-нибудь друзей, и те дивились устроенным ею навесным мосткам и проводили там славные денечки, болтая и смеясь.

Как-то вечером она сидела на нижней ветви среднего дуба. Овраг уже наполнялся тьмой, и она знала, что сейчас за ней придут, чтобы увести в тепло дома, поэтому решила, что лучше срезать напрямик через луг и заодно проведать соседских

барашков, и пустилась в путь сквозь густеющий туман. Между контрфорсами отцовской фермы и границей владений Марсело она знала каждую кочку и могла бы закрыть глаза и, как по звездам, ориентироваться по колдобинам полей, зарослям тростника у ручья, камням на дороге и отлогим склонам холмов. Но по какой-то совершенно особой причине она широко раскрыла глаза. Совсем рядом с ней, в тумане, шел кто-то, от чьего присутствия странно сжималось сердце и в воображении рождались удивительные картины. Ей привиделся белый конь в отливающей золотом роще и блестевшая под высокими кронами деревьев дорога, вымощенная черными камнями.

Надо бы рассказать, что это был за ребенок — тем более, что случилось такое примечательное событие. Все шестеро взрослых обитателей фермы — отец, мать, две престарелые тетушки и две бабушкины кузины — обожали ее. Ее отличало очарование, не похожее на прелесть детей, чье раннее детство было безоблачным, на ту прелесть, что рождена из доброго замеса неведения и счастья. Нет, это скорее напоминало радужное сияние, которое становилось заметно, стоило ей пошевелиться. Жившие среди

пастбищ и лесов соседи сравнивали это сияние с колыханием густых крон. Самая старшая из тетушек, имевшая чрезмерную склонность к необъяснимому, полагала, что в малышке есть что-то сверхъестественное. Впрочем, все сходились на том, что для такого маленького ребенка двигается она странно, словно увлекая за собой невидимый трепещущий воздух, как стрекозы или вербы на ветру. А в остальном — девочка как девочка: темноволосая и очень подвижная, худенькая, но грациозная; глаза как два сверкающих обсидиана, кожа матовая, почти смуглая, на высоких, чуть славянских скулах играет румянец; и наконец, ярко-алые губы изумительной формы. Загляденье. А что за характер! Все бы ей бегать по полям, падать в траву и лежать там, глядя в огромное небо, или шлепать по ручьям босиком, даже зимой, когда вода холодит или кусается. А потом с важностью епископа повествовать всем о важных и ничтожных событиях своих вольных дней. И при этом легкая грусть, какая бывает у тех, чей разум превосходит восприятие и кто по каким-то приметам, присутствующим повсюду, даже в таких укромных, хоть и весьма бедных местах, где она выросла, уже предчувствует человеческие трагедии. И вот

эта-то юница, пылкая и скрытная, ощутила рядом с собой в предвечернем тумане присутствие кого-то невидимого, про кого знала — тверже, чем от кюре про Бога сущего, что этот кто-то одновременно дружелюбный и сверхъестественный. Так что, вместо того чтобы испугаться, она шагнула к нему, направляясь по намеченному пути, к барашкам.

Что-то или кто-то взял ее за руку. Как будто широкая лапища, обвитая чем-то мягким и теплым. Ее рука словно бы потонула в этом нежном обхвате. Но ни один человек не мог с такой силой сжать ладонь, все впадины и выпуклости которой она ощущала сквозь шелковистый покров как лапу гигантского вепря. Тут они почти под прямым углом свернули влево, и девочка поняла, что, обходя барашков и ферму Марсело, они направляются к рощице. Там была заросшая чудной плотной и влажной травой пустошь. Она отлого поднималась к изрезанному тропками холму и вливалась в прекрасную тополиную рощу с морем земляники и ковром из барвинков. Еще недавно каждое семейство имело там свою вырубку и с первым выпавшим снегом запасалось дровами. Увы, прошло то время, но сегодня мы о нем говорить не будем, чтобы не огорчаться

или по забывчивости. А также потому, что в этот час малышка бежит навстречу судьбе, крепко сжимая лапу гигантского вепря. Тот вечер пришелся на осень, мягче которой давно не бывало. Яблоки и груши все не закладывали в погреба сушиться на деревянных слегах, а опьяневшая от садовых соков мошкара дни напролет дождем падала с неба.

И еще стояла в воздухе какая-то истома, ленивый вздох, безмятежная уверенность в том, что ничто не кончается, и хотя люди по привычке, без продыху и без жалоб, продолжали работать, они втайне наслаждались этой нескончаемой осенью, приказывавшей им не забывать любить.

Но вот у опушки восточного леса снова произошло неожиданное событие. Начался снегопад. Снег пошел внезапно, и не робкими мохнатыми снежинками, мелькающими в серой мгле и едва успевающими коснуться земли, прежде чем растаять. Нет, летели плотные хлопья размером с бутон магнолии, образовавшие непроницаемую завесу. Около шести в деревне все были сильно удивлены: отец, который колол дрова в одной бумазейной рубахе, Марсело, который выгуливал свору собак возле пруда, Жанетта, месившая

квашню, и все остальные, кто под конец осени, мечтая об утраченном счастье, хлопотал по хозяйству, сновал по двору туда-сюда кто с кожей, кто с мукой, кто с сеном. Да, все были застигнуты врасплох и теперь задвигали засовы на дверях хлевов, загоняли овец и собак, предвкушая то, что почти столь же приятно, как чудесная осенняя ленца: к первым посиделкам у очага, когда снаружи чертовски метет.

Готовились и размышляли. А размышляли — из тех, кто помнил, — об одном осеннем вечере тому десять лет назад, когда внезапно повалил снег, да так, словно небо вдруг раскрошилось белоснежными опилками. А особенно задумались об этом на ферме у девочки, где только что обнаружили, что ее нет, и где отец нахлобучил меховую шапку и натянул охотничью куртку, от которой за сто метров несло нафталином.

— Только бы у нас ее не отняли, — прошептал он, прежде чем скрыться во тьме.

Он стучал в двери домов, где жили другие фермеры, шорник и седельщик, деревенский голова, который был также старшиной дорожных обходчиков, лесничий и другие. И повсюду, прежде чем отправиться к следующей двери, говорил одно и то же: *малышка пропала*! И у него

за спиной хозяин дома кричал, чтоб ему дали охотничью куртку или самое теплое пальто, подпоясывался и нырял в снежную бурю. Так что их собралось пятнадцать человек в доме у Марсело, жена которого уже приготовила свиные шкварки и кувшин горячего вина. Все это смели за десять минут, перемежая еду боевыми наказами, не многим отличавшимися от тех, что раздаются утром в день охоты. За тем исключением, что передвижения диких кабанов тайны не составляли, а вот девочка была непредсказуемей чертенка. Просто у отца, как и у остальных, было на этот счет свое мнение, потому что в тех краях, где мирно уживаются Господь Бог и легенды и где чертей подозревают в разных каверзах, о которых давно позабыл городской человек, люди не верят в случайные совпадения. В наших местах, видите ли, в беде лишь изредка призывают на помощь разум, а скорее полагаются на глаз, ногу, интуицию и упорство. Именно так поступили мужчины в тот вечер, потому что вспомнили похожую ночь ровно десять лет назад, когда они шли по тропе в гору, ища того, чьи следы вели прямо к опушке восточного леса. Однако отец больше всего опасался, что, придя на место, парни будут только хлопать глазами, креститься

и качать головой, точь-в-точь как тогда, когда следы внезапно оборвались в центре круга и все уставились на гладкий, как кожа новорожденного младенца, снег, нетронутый и безмолвный, по которому — охотники готовы были в том поклясться — дня два никто не ступал.

Ладно, пусть себе продираются сквозь снежную бурю.

Малышка добралась до опушки. Шел снег. Ей совсем не было холодно. Тот, кто привел ее сюда, заговорил с ней. Это был высокий и прекрасный белый конь, от его спины и боков в вечернем воздухе поднимается пар и светлым туманом заволакивает все стороны света — к западу, где синеет Морван, к востоку, где сжали хлеб без единого дождя, к северу, где раскинулась равнина, и к югу, где люди с трудом идут в гору, увязая в снегу по бедра, и сердца их сжимает тревога. Да, высокий прекрасный белый конь с руками и ногами, да еще и с петушиными шпорами. И он не конь, не человек, не вепрь, а одновременно все они, только составляющие их части подвижны — лошадиная голова вдруг становится человечьей, а тело одновременно удлиняется и обзаводится конскими копытами,

которые сокращаются до поросячьих ножек, а потом вырастают до размера кабаньих. И все это продолжается бесконечно, а малышка сосредоточенно следит за этой пляской сущностей, которые перекликаются и смешиваются, прокладывая путь знанию и вере. Он ласково заговорил с ней, и туман изменился. И тогда она увидела. Девочка не понимала, что он говорит, но видела снежный вечер, такой же, как нынешний, в том же селении, где расположена ее ферма, и на крыльце, на белизне снега, что-то белело. И это что-то — она сама.

Все без исключения вспоминали об этом всякий раз, как встречали эту малышку, трепещущую, словно цыпленок, биение жизни которого не скрывает легкий пушок его детского оперения. Тетушка Анжела как раз собралась запереть курятник, когда обнаружила бедняжку. Со смуглого личика девочки на нее глянули черные глаза, такие огромные и такие явно человечьи, что Анжела так и застыла, а потом опомнилась и закричала: «Дитя в ночи!» А после прижала к себе и унесла в дом — малышку, спасая ее от снежных хлопьев, а снег все падал и падал, неумолимо. Той ночью, попозже, тетушка сообщила: «Меня будто Господь вразумил». После чего

умолкла со смутным чувством, что невозможно высказать, как искажается геометрия мира после того, как обнаружен новорожденный младенец в белых пеленочках, как вспыхивают возможности и расщепляются на неведомые траектории, вибрирующие в снежной ночи, а тем временем втягиваются и сокращаются пространства и времена. Но она хотя бы ощутила это, а труд разобраться препоручила Богу.

Час спустя после того, как Анжела обнаружила девочку, ферма была полна сельчан, которые держали совет, а окрестность — мужчин, идущих по следу. Они двигались по цепочке одиноких шагов, начинавшихся от фермы и поднимавшихся к восточному лесу, едва впечатываясь в снег, в котором мужчины, однако же, увязали едва не по пояс. Дальнейшее известно: придя на опушку, они прекратили преследование и вернулись в селение с грузом весьма темных мыслей.

— Только бы не… — сказал отец.

Больше никто ничего не сказал, но все подумали о несчастной, которая не дай бог, и осенили себя крестом.

Девочка наблюдала за всем этим, лежа в пеленках тонкого батиста, с кружевами неизвестного

в округе рисунка, где был вышит крест, согревший сердца бабулек, и два слова на неведомом языке, сильно их напугавшие. Над двумя этими словами тщетно раздумывали все присутствующие, пока не подошел Жанно, почтовый служащий. По причине войны, той самой, откуда не вернулся двадцать один житель селения, коим поставили памятник напротив мэрии и церкви, этому Жанно в прежние времена случилось весьма далеко забраться на территорию под названием Европа. Для участников спасательной операции оная местность представляла собой не более чем розовые, голубые, зеленые и красные пятна на карте в зале мэрии, потому что какая тут Европа, когда строжайшие границы разделяют села, стоящие всего в трех лье друг от друга?

И вот этот Жанно, заявившийся в шапке из снежных хлопьев и тут же получивший от матери чашку кофе, куда она щедро плеснула спиртного, взглянул на вышитую на атласной ткани надпись и сказал:

— Ей-богу, это же по-испански.

— Точно знаешь? — спросил отец.

Славный малый энергично закивал головой, уже отяжелевшей от спиртного.

— И что означает? — снова спросил отец.

— Откуда мне знать? — ответил Жанно, не говоривший по-бусурмански.

Селяне покачали головой и запили известие новой порцией горячительного напитка. Так, значит, малышка из Испанских земель? Ну и ну!

Тем временем женщины, которые, конечно, не выпивали, сходили за Люсеттой, недавно разродившейся, и теперь она принялась кормить молоком обоих мальцов, пристроив их к таким же белым, как снег за окном, грудям. И мужчины без всякой задней мысли смотрели на эти прекрасные груди, так напоминающие сахарные головы, что их хотелось лизнуть. И всем казалось, будто на весь мир словно бы снисходит покой, потому как тут у нас два малыша приникли к кормящим сосцам. Вдоволь напившись молока, малютка славно срыгнула — кругленько, как шарик, и громко, как с колокольни, — и все засмеялись и стали братски хлопать друг друга по плечу. Всем полегчало, Люсетта зашнуровала корсаж, и женщины подали заячий паштет на толстых ломтях хлеба, обжаренного на гусином жире. Все решили, что это грешок господина кюре, а они удумали оставить девочку в христианском доме. Все остальное не вызвало тех

проблем, какие могли бы возникнуть в иных местах, если б испанская девочка свалилась там на крыльцо кому ни попадя.

— Ну, — сказал отец, — по мне, так малютка у себя дома, — и посмотрел на мать, которая улыбнулась в ответ. Потом посмотрел на каждого из гостей, которые были не в силах отвести сытый взгляд от младенцев, уложенных на одеяле возле большой печи. И наконец посмотрел на господина кюре с лоснящимся от паштета из зайчатины и гусиного жира лицом. Тот встал и приблизился к печи.

Все повскакали со своих мест.

Мы не станем повторять здесь благословение деревенского кюре, вся эта латынь — когда лучше бы было хоть немного знать испанский — запутает нас вконец. Но они встали, кюре благословил малышку, и каждый понял, что эта снежная ночь исполнена благодати. Все помнили рассказ одного старожила про такую сильную стужу, что если не замерзнешь, так помрешь от страха. Это случилось во время последней кампании, из которой они вышли с победой и вечным проклятьем — памятью о павших. Той последней кампании, когда колонны двигались вперед в лунных сумерках и когда сам

он уже не понимал, существовали ли когда-то дороги его детства, и лещина у поворота, и рои пчел на Иванов день… Да, он перестал что-либо понимать, и все остальные тоже, потому что тогда было так холодно, так холодно… невозможно вообразить, что за участь им выпала. Но на рассвете после той ужасной ночи, когда мороз валил храбрецов, которых не смог сломить враг, внезапно начался снегопад, и этот снег… он был словно искупление мира, потому что дивизии больше не будут замерзать до смерти и скоро все почувствуют чудесное и долгожданное прикосновение оттепели.

Малютка не чувствовала холода, не больше, чем солдаты в последнюю кампанию или парни, вышедшие на опушку и замершие, как собаки в стойке на охоте. Позднее они не смогут четко вспомнить то, что видели ясно, как днем, и на все вопросы станут отвечать неопределенным тоном человека, пытающегося где-то в глубинах сознания обнаружить смутное воспоминание. Чаще всего они будут просто говорить:

— Там малютка стояла посреди черт-те какой пурги, но она была живехонька и теплехонька и болтала со зверем, который потом ушел.

— Что за зверь? — будут спрашивать женщи-

ны.

— Да уж такой зверь, — ответят они.

А поскольку дело происходит в таких местах, где Бог и легенда и так далее, то этим ответом все удовлетворятся и будут просто беречь девочку, как сам Гроб Господень.

Поразительно человечный был зверь, это ощущал каждый, глядя на вихрящиеся вокруг малютки волны, такие же видимые, как полотно. И зрелище это было им внове и вызывало у них странную дрожь, как будто жизнь внезапно распахнулась настежь и можно наконец заглянуть внутрь. Но что можно увидеть внутри жизни? Видны деревья, роща, снег, может быть, мост и пейзажи, что проносятся мимо, так что взгляд не способен удержать их. Видно тяжкий труд и легкий ветерок, времена года и страдания, и каждый видит картину, что принадлежит лишь его сердцу, — кожаный ремень с жестяной пряжкой, край поля, где боярышника целый полк, морщины на лице любимой и улыбку девочки, рассказывающей историю про лягушек. Потом видение исчезло. Мужчины потом скажут, что мир вдруг снова шлепнулся с головы на ноги — с такой отдачей, что их даже качнуло, — после чего они увидели, что туман

над опушкой рассеялся, повалил такой снег, что можно провалиться по пояс, и что малышка стоит одна в центре круга, где других следов, кроме ее, — нет. Тогда все спустились к ферме. Девочку усадили перед чашкой горячего молока, а мужчины поспешно отставили ружья, потому что их ждала грибная жареха, паштет из требухи и десять бутылок вина из погреба.

Вот история девочки, которая крепко держалась за лапу гигантского вепря. По правде сказать, никто не смог бы объяснить смысл случившегося. Но надо сказать еще кое-что, два слова, вышитые на белой атласной пеленке, ни логики, ни смысла, на прекрасном испанском языке, который малышка выучит, когда покинет село и запустит механизмы судьбы. А кроме того, заметим: всякий человек вправе знать тайну своего рождения. Так молятся в наших церквах и в наших лесах и так пускаются бродить по свету, оттого что родились снежной ночью, получив в наследство два слова из Испанских земель.

Mantendré siempre[1]

---

[1] Сноски: 1
Буду хранить всегда *(исп.)*.

Малышка из Итальянских земель

Те, кто не умеет читать между строк жизни, запомнят только, что малышка выросла в затерянном селении Абруцци под опекой деревенского кюре и его безграмотной старухи-няньки.

Жилище падре Ченти представляло собой высокую каменную постройку с погребами и со сливовым садом, где в прохладные часы надолго развешивали белье, чтобы его просушил ветер с гор. Дом стоял посередине деревни, стрелой взмывавшей в небо так, что улицы обматывали холм как нитки плотного клубка, в который кто-то воткнул церковь, постоялый двор и кое-какие каменные строения, приютившие шестьдесят душ. Пробегав весь день на воле, Клара возвращалась к семейному очагу не иначе, как через фруктовый сад, где обращалась к местным духам, готовясь вернуться в дом. Потом она шла в кухню, длинную низкую комнату, где из кладовки пахло сливой, старым тазом для варенья и благородной подвальной пылью.

Там от рассвета до заката старая нянька рассказывала истории. Кюре она как-то сообщила,

что слышала их от бабушки, а Кларе — что их нашептали ей во сне духи Сассо, и малышка понимала, что признание это похоже на правду, ибо слыхала рассказы Паоло, который сам заимствовал их у духов альпийских лугов.

Но в фигурах и оборотах речи рассказчицы она ценила только бархат и напевность ее голоса. Ибо эта простая женщина, которую от полной безграмотности отделяли всего два слова — она умела писать свое имя и название деревни, а молитвы во время службы не читала, но твердила по памяти, — имела дикцию, контрастировавшую с убогостью прихода, затерянного среди отлогих уступов Сассо. Кстати, неплохо было бы знать, что в то время представлял собой горный край Абруцци, где жили покровители Клары: восемь месяцев снега с бурями вперемешку в горных массивах, зажатых между двумя морями, где нередко и в разгар лета можно было увидеть снежные хлопья. А вдобавок еще и бедность — бедность края, где лишь возделывают землю и разводят скот, в теплое время уводя его на горные пастбища. Народу мало, да и то в снежные месяцы почти все уходят, отгоняя скот под солнце Пулии. В деревне тогда можно встретить лишь тружеников-крестьян, которые

выращивают темную чечевицу, что приживается только на бедных почвах, и доблестных женщин, которые в суровые зимы посвящают себя заботам о детях, служению Богу и работе на ферме. Но если ветер и снег обтачивают людей этих земель, как уступы каменных утесов, то еще их формирует поэзия пейзажей, в ледяных туманах альпийских лугов нашептывая пастухам рифмы и рождая из вихрей селения, парящие в небесной синеве.

Вот и в голосе старой женщины, чья жизнь протекла в отрезанной от цивилизации деревне, шуршал шелк, сотканный из роскоши этих пейзажей. Малышка была уверена: именно тембр этого голоса пробудил ее к миру, хотя ее и заверяли, что она в ту пору была лишь голодным грудным младенцем, найденным на верхней ступени церковного крыльца. Но вера Клары не знала сомнений.

Ей сильно недоставало ощущений, провал в кружевной оправе белизны и ветра; зато был звонкий ручей, пронизывавший пустоту. Его журчание возвращалось к ней каждое утро, когда старая нянька будила ее. На самом деле малышка выучила итальянский с поразительной скоростью, но Паоло-пастух по-своему понял

то ощущение дара Божьего, которое шлейфом тянулось за ней, — однажды долгим вечером он ласково прошептал ей:

– Это ты музыку слышишь, да ведь, малышка, — музыку?

Подняв на него свои синие, как потоки с ледника, глаза, она ответила взглядом, в котором пели ангелы тайны. И жизнь текла по склонам Сассо с медлительностью и насыщенностью тех мест, где все требует труда и точно так же неспешно вписывается в ту давнюю грезу, когда люди постигали мир в тесном смешении немощи и истового упорства.

Здесь много работали, столько же молились, здесь оберегали малышку, которая говорила как пела и умела болтать с духами скал и ущелий.

Однажды июньским вечером в дверь приходского дома постучали, и в кухню, утирая потные лбы, вошли двое мужчин. Один из них был младший брат кюре, другой — возчик, прибывший из Аквилы на запряженной парой лошадей большой телеге, на которой виднелся массивный предмет, стянутый попонами и ремнями.

После обеда Клара сидела на скалистом уступе над деревней, откуда можно было охватить

взглядом обе долины, а в ясную погоду увидеть к тому же Пескару и море, и следила взглядом за процессией, двигавшейся по северной дороге. Когда телега преодолела последний подъем, девочка сбежала по склону и вошла в приходский дом: лицо ее светилось любовью. Мужчины оставили повозку у паперти и поднялись в сливовый сад. Там все расцеловались и выпили прохладного, с фруктовым привкусом, белого вина, которое подавали в жаркие дни, к чему добавили несколько закусок для подкрепления сил. После чего, отложив ужин на более позднее время, утерлись обшлагами рукавов и перешли в церковь, где ждал падре Ченти. Пришлось звать на подмогу еще двоих мужчин, чтобы установить большой предмет в нефе и начать освобождать его от пут. Тем временем вся деревня понемногу рассаживалась по скамейкам церквушки, а в воздухе долины разливалось приятное тепло, совпавшее с появлением из города этого неожиданного наследства. Но Клара, неподвижная и немая, стояла в отдалении, в тени колонны. Настал ее час, она догадалась об этом в тот момент, когда заметила движущуюся точку на северной дороге. И если старая нянька разглядела у нее на лице радостное смятение невесты, то это потому,

что девочка чувствовала, что находится на пороге бракосочетания, единения с чем-то знакомым и странным. Когда сняли последний ремень и стал наконец виден сам предмет, послышалось довольное перешептывание, за которым последовал гром аплодисментов. Взорам собравшихся предстал прекрасный рояль, черный и гладкий, как галька, и почти без царапин, хотя ему довелось немало поездить и пожить.

Вот какова была его история. Падре Ченти происходил из богатого аквильского рода, хиревшего без потомства, поскольку сам он сделался священником, двое его братьев умерли до срока, а третий, Алессандро, теперь расплачивающийся за грехи ветреной жизни в Риме, так и не обзавелся женой. Отец их умер до войны, оставив вдове неожиданный список долгов и дом, слишком роскошный для бедной женщины, каковой она стала в одночасье. После того как она продала все свое добро и кредиторы перестали стучаться в дверь, она удалилась в тот самый монастырь, где несколько лет спустя умерла. Это было задолго до того, как Клара появилась в деревне. И вот, расставаясь с мирской жизнью ради окончательного затворничества, она приказала отнести к сестре, старой деве, жившей возле крепостной

стены, рояль, то единственное, что осталось от былой жизни и что ей удалось спасти от стервятников, и попросила сберечь для внуков, буде те народятся у нее на земле. «Я их не узнаю, но они получат это от меня, теперь же я ухожу и желаю тебе хорошей жизни», — прилежно переписала тетка в своем завещании, оставляя инструмент тому из своих племянников, кто обзаведется потомством ко дню ее кончины, и добавила: «сделайте по моей воле». Именно так и решил поступить нотариус, прослышавший о появлении сиротки в приходском доме. Он попросил Алессандро сопроводить наследство до жилища брата. Поскольку рояль всю войну простоял на чердаке, да и потом тоже никому не пришло в голову спускать его вниз, тот же нотариус предупредил письмом, что по прибытии инструмент следует настроить. На что кюре ответил, что настройщик, раз в год объезжающий близлежащие города и веси, уже приглашен в первые дни лета заглянуть в деревню, сделав небольшой крюк.

И все смотрели на прекрасный рояль, блестевший под витражами, и все смеялись, обменивались впечатлениями и смаковали радость чудесного дня в конце весны.

Но Клара молчала. Ей уже доводилось слышать игру на органе во время отпевания в соседней церкви. Старуха-богомолка, исполнявшая церковный репертуар, была столь же тугоуха, сколь и бездарна с музыкальной точки зрения; правда, надо сказать, что и аккорды, которые она вбивала в клавиатуру, возможно, тоже не стоили упоминания.

Клара стократно предпочитала напевы, которые Паоло выдувал из своей горной дудочки и которые казались ей и чище, и мощнее органного грохота во славу Всевышнего.

Однако при виде повозки внизу, на изгибах долгой петляющей дороги, ее сердце екнуло, как будто готовилось что-то необыкновенное. Теперь, когда предмет предстал перед ней, это чувство нарастало с головокружительной быстротой, и Клара не понимала, как сможет вынести ожидание. Потому что, к огорчению тех, кто хотел получить аванс в счет грядущих радостей, было объявлено, что пока инструмент не настроят, к нему никто не должен прикасаться. Но решение духовного пастыря уважали, а потому готовились к славному вечеру за доброй чаркой вина под защитой благоприятствующих звезд.

И вечер выдался великолепный. В саду под сливовыми деревьями накрыли стол и пригласили отужинать старых друзей Алессандро. Некогда он был очень красив, и под отметинами времени и былых излишеств еще проступали тонкость черт и гордая лепка лица. К тому же он говорил по-итальянски ровным тоном, что не вредило мелодичности речи. Обычно он рассказывал истории о прекрасных женщинах и бесконечных вечерах, когда курят под навесом, беседуя с поэтами и мудрецами. В тот раз он завел рассказ, действие которого разворачивалось в благоухающих гостиных, где угощали тонкими сигарами и золотистыми ликерами. Смысла истории Клара не понимала, настолько чужды были ей и обстановка, и нравы. Но когда он собрался приступить к рассказу о чем-то таинственном под названием концерт, старая нянька прервала его словами: «Sandro, al vino ci pensi tu?»[2] И любезный человек, спаливший всю свою жизнь за несколько лет бурной и расточительной молодости, отправился в подвал и принес бутылки, которые он открыл с той же элегантностью, с которой погубил свою жизнь, и с той же улыбкой на губах, с какой

---

[2] Сноски: 2
Сандро, не подумать ли тебе о вине? *(ит.)*

всегда встречал любую беду. И тогда в теплом лунном свете, от которого вспыхивал выхваченный из тьмы обеденный стол приходского дома, Алессандро на мгновение снова стал блестящим юношей из прошлого. Потом выражение лица, поразившее всех, подернулось ночным пеплом. Вдали виднелись огни, висящие в пустоте, и люди знали, что другие тоже разливают летнее вино, славя Господа в благодати теплых сумерек. Горы покрылись алыми маками, а тут — малютка с волосами светлее сухих травинок, которую падре скоро выучит играть на рояле, как водится у городских барышень. Ах… остановиться и отдышаться в беспрестанном круговороте трудов… то была великая ночь, и это понимали все, кто там собрался.

Алессандро Ченти оставался в приходском доме в дни, последовавшие за прибытием рояля, и он же встретил настройщика в самом начале июльской жары. Клара пошла за ними в церковь и молча смотрела, как незнакомец раскладывает инструменты. Первые удары по расстроенным клавишам произвели на нее впечатление одновременно и наточенного лезвия, и сладостного морока, Алессандро и настройщик переговаривались и шутили, а ее жизнь падала и взлетала

от смыкающихся наугад пластинок слоновой кости и войлочных молоточков. Потом Алессандро сел за инструмент, поставил перед собой ноты и сыграл довольно хорошо, несмотря на долгий перерыв. В конце отрывка Клара встала рядом с ним и, показав на ноты, знаком попросила перевернуть страницы. Он чуть снисходительно улыбнулся, но что-то в ее взгляде поразило его, и он стал листать страницы, как она просила.

Он медленно переворачивал одну за другой, потом начал пьесу сначала. Когда он закончил, девочка сказала: «Сыграй еще», и он исполнил отрывок еще раз. Все молчали. Алессандро встал и пошел в ризницу за большой красной подушкой, которую он водрузил на обитый бархатом табурет. «Ты хочешь играть?» — спросил он, и голос у него был хриплый.

Кисти у малышки были тонкие и грациозные, пожалуй, крупноватые для ребенка, отпраздновавшего десять лет только в ноябре, пальцы с поразительной растяжкой. Она подняла их над клавишами, как положено, перед тем как начать играть, но оставила висеть в воздухе на миг, в который обоим мужчинам показалось, что в нефе просвистел неизъяснимый ветер судьбы. Потом она опустила руки. И тогда по церкви

пронеслась буря, настоящая буря, разметавшая листву, рокотавшая как вал, который вздымается и падает на гордые пики утесов. Наконец волна прошла, и девочка заиграла.

Она играла медленно, не глядя на руки и ни разу не сбившись. Алессандро переворачивал страницы, и она продолжала играть с тем же неумолимым совершенством, с той же скоростью и точностью, пока в преображенной церкви не воцарилась тишина.

— Ты читаешь то, что играешь? — спросил Алессандро спустя долгое время.

Она ответила:

— Я смотрю.

— Ты можешь играть, не глядя в ноты?

Она кивнула.

— Ты смотришь, только чтобы понять?

Она снова кивнула, и они нерешительно переглянулись, как будто получили кристалл — такой хрупкий, что не знали, как удержать его на ладони. В прошлом Алессандро Ченти нередко случалось видеть кристаллы с их прозрачностью и головокружительной чистотой, и он познал таящиеся в них и восторг, и изнеможение. Но в нынешнем его существовании о былых

увлечениях напоминали лишь трели птиц на заре или гигантские росчерки облаков. И потому боль, которую он ощутил, когда малышка заиграла, пробудила какую-то печаль, давно таившуюся внутри души, смутное напоминание о жестокости наслаждения, — и в миг, когда он спросил: «Ты смотришь, только чтобы понять?» — Алессандро уже знал, каков будет ответ Клары.

Они послали за падре Ченти и нянькой и взяли все ноты, привезенные Алессандро из города. Кюре и пожилая женщина уселись на первую скамью для паствы, и Алессандро попросил Клару снова сыграть отрывок по памяти. Когда она начала играть, изумление, словно удар молота, придавило новых слушателей. Потом старая нянька раз сто перекрестилась, а Клара тем временем сыграла сонату в два раза быстрее, ведь теперь наступило настоящее торжество, настоящее единение. Она одну за другой проигрывала ноты, которые ставил на пюпитр Алессандро. Позднее появятся рассказы о том, как именно Клара играла и что безупречность исполнения была не главным чудом этого июльского свадебного обряда. Да будет известно только, что в миг, когда она увидела пьесу в синей обложке, которую Алессандро торжественно поставил перед

ней, она сделала глубокий вдох, показавшийся свидетелям горным ветром, залетевшим под высокие стрельчатые своды. Потом заиграла. Слезы текли по щекам Алессандро, и он не пытался их сдержать. Пронесся образ, столь драгоценный, что пронзил его насквозь и больше не изгладился из памяти, и в мимолетном видении этого лица на фоне картины с рыдающей женщиной, которая прижимала к груди Христа, он с удивлением понял, что не плакал десять лет.

Назавтра он собрался в путь, сказав, что вернется в начале августа. Алессандро вернулся, как обещал. Через неделю после его возвращения в дверь приходского дома постучал высокий, чуть сутулый человек. Алессандро спустился в кухню встретить гостя, и они обнялись, как братья.

— Вот значит как, Сандро, — сказал человек.

Клара застыла на пороге. Алессандро взял ее за руку и подвел к высокому мужчине.

— Познакомься, это Пьетро, — сказал он.

Они посмотрели друг на друга с взаимным любопытством, вызванным противоположными причинами: он о ней слышал, она же не знала о нем ничего. Потом, не сводя с нее глаз, Пьетро сказал Алессандро:

— Теперь ты объяснишь мне?

В этот прекрасный послеполуденный час, когда троица шла по улице к церкви, у своих домов сидели люди. Все смотрели на мужчин, которые — хотя один был всем знаком — все-таки были какими-то особенными, как по одежде, так и по манерам, и, когда они проходили, люди вставали и задумчиво провожали их взглядами. Потом Клара заиграла, и Пьетро понял смысл долгого пути, что привел его от Рима до этих забытых Богом отрогов Сассо. В момент, когда она взяла последнюю ноту, он испытал головокружение такой поразительной силы, что его качнуло, а потом высветился целый букет образов, почти тотчас исчезнувших, — но последний запечатлелся в памяти надолго, Пьетро с почтением вспоминал хрупкую девочку, благодаря которой случилось чудо возрождения, а на ее лицо наслаивалось лицо другой женщины, смеявшейся в бликах света и тени забытого сада.

Клара играла до наступления темноты. Потом великая тишина окутала своды церкви, где явился ей чудом уцелевший рояль — в лето, предшествовавшее ее одиннадцатилетию.

Видите ли, это, конечно, сказка, но еще и быль. Кто может отделить одно от другого? Никто, по крайней мере из тех, кто слышал историю

девочки, найденной в затерянной деревне Абруцци у сельского кюре и старой невежественной няньки.

Единственное, что известно, так это то, что звали ее Кларой Ченти и что история на этом не кончается, поскольку Пьетро отправился в такую даль слушать игру маленькой дикарки не для того, чтобы потом преспокойно вернуться в Рим. А прежде чем последовать за ними в большой город, где теперь назревает война, мы добавим, что тот же Пьетро, когда Клара в сумеречном пространстве церкви доиграла последнее произведение, сказал:

Alle orfane la grazia[3].

[3] Сноски: 3
Блаженны сироты *(лат.)*.

Лучники

Лишенные корней – последний альянс

Анжела
Черные стрелы

Малютка, которую нарекли Марией, чтобы воздать двойную честь: во-первых, Богородице и во-вторых — словам из Испанских земель, — росла на ферме под покровительством четырех грозных старух, у которых на все случаи жизни под рукой имелись четки и Око Господне, как говорят про бабулек, от которых ничто не ускользнет на двадцать верст вокруг, хотя сами они покидают дом лишь ради похорон какого-нибудь кузена или свадьбы какой-нибудь внучечки, тоже никогда, насколько помнится, не покидавших округи.

Точно можно сказать лишь, что это были женщины. Самой младшей едва пошел восемьдесят первый год, и она почтительно молчала, когда старшие высказывались о засолке свинины или отваре листьев шалфея. Появление девочки мало что изменило в течении дней, посвященных делам благочестивым и утомительным, которые в христианской земле являются уделом порядочных женщин. Они только старались по-

раньше сдаивать для нее парное молоко и читать Священное Писание, когда не сушили большие пучки полыни, изучая с ней лекарственные растения, целебные и нравственные свойства которых следовало перечислять на память, и не как-нибудь, а в определенном порядке. Нет, появление малышки внешне никак не изменило очертаний месяцев и лет, доверху набитых четырьмя материями, питавшими людей этих земель, то бишь верой, трудом, охотой и собственно пищей. Но на самом деле девочка преобразила их жизнь, и если это не сразу заметили, то потому, что ее воздействие шло неспешно, и так же неспешно помимо ее воли разворачивались и крепли ее собственные силы.

Но прошло много тучных весен и много великолепных зим, прежде чем кто-то подумал, что это может быть как-то связано с той первой снежной ночью. Впрочем, и приумножение дара бабулек объяснялось не иначе как Божьим благословением этому краю, где женщины усердно молятся, и ни единому человеку не пришло на ум, что прибытком таланта чудны́е старые хлопотуньи обязаны паре слов на испанском.

Самой бдительной из четырех оказалась тетушка Анжела, сестра бабушки по отцовской линии,

чей род славился женщинами крошечными, как мышки, но более упорными в достижении цели, чем несущееся стадо кабанов. Анжела была той же породы и даже малость добавила от себя, развив особую форму упрямства, при отсутствии ума ставшего бы совсем дремучим, но, поскольку ум у Анжелы был живой и прыткий, как ручей, она употребляла высвобождавшийся избыток мудрости для понимания мира, хотя в глаза его не видала. С самого начала, как мы знаем, Анжеле почудилось, что в малышке есть что-то сверхъестественное. После эпизода со зверюгой, которую люди даже толком не могли описать, а сама она готова была биться об заклад, что это вовсе не зверюга, старуха в своей догадке уже не сомневалась. Более того, она даже внутренне утвердилась в уверенности, ежедневно подкрепляемой новым подвоем доказательств, что малышка мало того что волшебница, так еще и весьма могущественная. И как бывает доподлинно известно старухам, хотя и видавшим из всего мира лишь три холма да два перелеска, она с ужасом догадалась, что девочку от рождения что-то преследует. А потому еще до заутрени ежедневно читала над ней парочку «Ave Maria» и столько же по счету «Отче наш» и следила

краем своего Ока Господня за всеми передвижениями малышки — и пусть молоко хоть сто раз убегает на коварной плите.

С истории на опушке восточного леса прошел год, и этот год промелькнул как сон в спокойных волнах счастья. И вот однажды утром в конце ноября Анжела направила на поиски девочки свое Око Господне — на рассвете видели, как та в погребе отрезала себе кусок сыра и вприпрыжку отправилась к деревьям и заутрене. Некоторые, забывшие о жизни на лоне первозданной природы, подумают, что Око Господне — это метафора и представляет собой просто россказни соседок, а на самом деле эта ячеистая структура сельской местности, с клетками плотнее, чем соты в улье, существовала всегда. Но Око Господне заметно превосходит значение деревенских сплетен и напоминает скорее зонд, позволяющий различать, словно в полутьме, существа и предметы вне пределов непосредственной видимости. Конечно, ничего подобного не было на совести у тетушки Анжелы; спроси кто у кумушек о глазе, и они стали бы перебирать четки и бормотать что-то невнятное про материнское сердце-вещун, потому что магия — это чертовщина, от которой они открещивались вплоть до отрицания своих

способностей, которые были хотя и явными, однако же не вполне христианскими.

Природа в тот день искрилась. С утра подморозило, и иней трещал по всей округе; и тут солнце разом поднялось над землей, обтянутой ровной скатертью, переливавшейся морем света. И потому, устремив взгляд на поля, укутанные снежным покровом, и почти сразу обнаружив малышку на краю корабельной рощи, к востоку от фермы, Анжела не удивилась четкости своего зрения и на миг погрузилась в созерцание сцены, и вправду весьма красивой. Мария выделялась на фоне заиндевевших, обтянутых белым деревьев, склонившихся над ее головой алмазными стрельчатыми арками. Ведь созерцать такое не грех, ибо то не праздность, а хвала творению Господню. Надо сказать, что в те времена в сельской местности, где люди жили очень просто, можно было запросто прикоснуться к Божественному. Причина такой легкости крылась в поддержании ими ежедневного диалога с тучами и камнями и с могучими влажными рассветами, проливающими на землю потоки прозрачного света. И потому, сидя на кухне и глядя в пустоту, Анжела улыбалась видению малышки на этой опушке, застывшей алтарем из свежего льда

чудесной рощи, и вдруг резко вздрогнула от внезапного прозрения. Как она могла недосмотреть? Внезапно до нее дошло, что яркость эта необычна и что световые арки и бриллиантовые соборы скрывают от нее, что девочка не одна и даже, возможно, в опасности. Старуха не медлила ни секунды. Мать и остальные бабульки спозаранку ушли на похороны, откуда вернутся никак не раньше чем через два часа. На соседней ферме можно застать только хозяйку, мамашу Марсело, — все мужское население деревни с утра отправилось на первую большую зимнюю охоту. Можно обратиться за помощью к кюре, добежав до приходского дома, — но тот представился ей во всей своей красе и при немалом пузе, набитом гусиным жиром, и (Анжела обязала себя впоследствии замолить нечестивую мысль) совершенно неспособным бороться с темными силами мироздания.

В те времена, не знавшие развращающего тепла современных жилищ, Анжела носила дома три кофты и семь юбок с исподницами. К этому она добавила тяжелую драповую пелерину, и так, заковавшись в броню, крепко повязав чепец на своих трех волосинах, вышла на мороз в предательском свете того гибельного дня.

Все вместе, то есть бабулька плюс ее восемь зимних покровов, башмаки, три нитки четок и серебряный крест на цепочке и, конечно, чепец с лентами, на который она нахлобучила грубую фетровую шаль, — весило не больше сорока килограммов. А потому ее девяносто четыре весны словно летели по-над тропинками, так что даже не слышалось обычного хруста замерзших листьев под подошвами. Она почти бесшумно, запыхавшись и побагровев, внезапно появилась на краю поля, которое прежде обозрела своим оком. Она едва успела заметить малышку, которая что-то кричала, обращаясь к высокому серому коню, тускло мерцавшему серебром, и выдохнуть что-то вроде «Помилуйте, святые угодники и Богородица-заступница!», что в итоге свелось к изящному «о-хо-хо», — и на поле пала тьма. Да, ураган налетел на малышку и чужака и опрокинул бы Анжелу на мягкое место, если бы та не вцепилась в свои четки, которые — хотите верьте, хотите нет — тут же обратились в посох. Чудо.

Так посреди ненастья тетушка потрясала своими четками и проклинала непроницаемое снежное облако, преграждавшее ей путь к Марии. Она потеряла шаль и чепец с лентами,

и седые косички с прядями тонкими, как паутина, дыбом стояли на голове, которой она мотала, досадуя на сопротивление ветра. «Ох-ох! Ох-ох!» — твердила она, и на сей раз это означало: «Даже не думайте забрать у нас малышку, а то разукрашу ваши злодейские рожи». Да будет вам известно, что от башмака, запущенного разъяренной бабулькой, смерч может расступиться, вроде как у Моисея, у которого, верно, тоже все юбки заворотило вверх, вплоть до последней, такой же красной, как море из Великой Книги. Увидев брешь, пробитую башмаком, Анжела козочкой прыгнула туда и, парашютом раздув одежды, приземлилась в ревущий водоворот. Но вихри, закрывавшие ей обзор и мешавшие пробиться к малышке, двигались теперь вокруг этого энергетического месива и (догадка вспыхнула, но так и не облеклась в слова) сжимали ее. Тараща близорукие глаза и помогая себе четками, превратившимися в посох, она попыталась встать на ноги и подобрать юбки. Одежды Марии взвивались в ревущем потоке, и она что-то кричала серому коню, который отступил к кромке деревьев, потому что между ними образовалась черная завеса дымов, клубы которых громыхали и становились все плотнее. Но конь и сам был

окутан туманами, чутко трепетавшими перед его благородной головой с блестящими ноздрями. Он был прекрасен со своей отливающей ртутью шкурой, испещренной тонкими серебряными нитями, так что тетушка, хотя и слепая как крот, вовсе не удивилась, что способна что-то разглядеть за двадцать шагов (после превращения четок в посох это был сущий пустяк). Малышка продолжала выкрикивать что-то непонятное, но черные дымы были сильнее, чем конь, стремившийся прийти к Марии. И в движении, которое он сделал в сторону девочки, сочувственно выгнув шею, одновременно успокаивая и прощаясь, бабулька прочла и грусть, и надежду, будто он говорил: «Мы еще увидимся», и ей совсем не ко времени (все же вокруг сверкали молнии) захотелось заплакать и хорошенько высморкаться.

А конь исчез.

Несколько секунд две живые души, оказавшиеся в темном водовороте, пребывали в неведении относительно своей участи.

Потом раздался жуткий свист, тучи рассеялись, черные дымы смертоносными стрелами взвились в небо и разнеслись по нему яростными брызгами, в окаменевшей тишине поля вновь

обретя свой кристально-соляной убор; тетушка опамятовалась и прижала малышку к плотной драповой накидке так крепко, что едва не придушила.

В тот вечер на ферму созвали мужчин. Женщины готовили ужин, и все ждали Андре, который заглянул домой раньше, подбросив пару зайцев и пообещав хороший кусок свинины. Ему успели поведать про недавние чудеса, так что он отправился стучаться в разные двери, пока женщины накрывали стол на пятнадцать человек. В обычное время здесь поужинали бы супом, салом, половинкой сыра на едока и толикой айвового мармелада Евгении. Сегодня же вместо этого приготовили заячье рагу и пирог с лисичками, коих открыли три банки прошлогоднего сбора. Мария сидела перед прекрасной грушей с подтеками меда, пахнущего тимьяном, который все лето собирали пчелы, и молчала. Девочку пробовали было расспросить, но отступились, с тревогой заметив чуть лихорадочный блеск черных зрачков. Все гадали, что же она могла такое кричать в тумане серому коню. Однако в словах Анжелы никто не усомнился, и потому ужин протек в общем шумном обсуждении историй про четки, про бури и про погоду в конце ноября, Анжеле

пришлось раз шесть повторить свой обстоятельный рассказ, в котором она честно не поменяла ни единой запятой.

Рассказ обстоятельный, но не совсем полный, как заметила Мария, молча сидя над своей грушей и размышляя. Она размышляла над тем, что Анжела покосилась на нее, приступая к той части рассказа, где черные дымы обращались в острые стрелы, на которые глянешь — и понятно, что они разят насмерть. Глянешь — и понятно, вот и все. И Мария видела, что тетушка молчит про ужас, который запечатлелся в ее груди от жуткого зрелища, молчит в силу ряда причин, мучительно противоречащих ее любви к истине. Она сказала только: «А дымы прямо так ушли в небо и разом взорвались наверху, и небо опять стало голубым» — и умолкла. Мария задумалась.

Она думала о том, что знает многое, что неизвестно этим славным людям, и что она любит их со всей силой, которую одиннадцатилетний ребенок может обратить в любовь, которая рождается уже не только из ранних привязанностей, но из понимания человека со всем, что в нем есть великого и неизъяснимо-горестного. Анжела не говорила о смертоносной силе черных стрел

отчасти потому, что боялась накликать беду, отчасти не желая напугать девочку, не зная, поняла та или нет, и отчасти потому, наконец, что и сама в прошлом была натурой пылкой и отважной. Пускай теперь тетушка походила на усохший орех, питаемый бесплотными молитвами, — Мария, с десятилетнего возраста обретшая дар различать образы прошлого, видела, что прежде та была хорошеньким светлячком, плотью и духом созданным для ветров свободы. Она видела, как в прошлом та частенько босиком шлепала по ручью и мечтательно смотрела в небо. Но еще ей открывались время и судьба, расходящиеся линии, которые невозможно поколебать, и она знала, что огонь в Анжеле постепенно ушел внутрь души и сконцентрировался в одной, навсегда забытой точке. Однако появление на крыльце фермы малютки из Испанских земель разбудило память о жаре, струившемся когда-то по ее венам, и его возрождение требовало, чтобы Мария осталась свободной и пылкой. Именно поэтому Анжела опасалась, что если заговорить о стрелах смерти, то односельчане сочтут разумным ограничить повседневную жизнь малышки, и верила, или, по крайней мере, надеялась, что сможет защитить ее сама,

только бы не сковывать девочку, которую день, проведенный в четырех стенах, убьет вернее, чем все стрелы, отлетающие от обычных четок.

Мария размышляла, взрослые рассуждали. От вина с дальнего виноградника мужчины размякли, и фантастические звери и черные дымы уже не казались им такими страшными, но разговор продолжался — решали, что лучше: призвать жандармов или знахарей — заклинателей темных сил или же положиться на старинную мудрость, что земля убережет от зла, если сердце чисто. Мужчинам стоило лишь взглянуть на тетушку Анжелу в кресле-качалке, куда силком усадили ее женщины, на Анжелу, чье морщинистое лицо, разгоряченное от рагу и вина, под новым чепцом с васильковыми лентами казалось высеченным из прекрасного тусклого дерева с благородными прожилками, — да, стоило мужчинам взглянуть на дорогую бабульку, чтобы узреть саму отвагу, которой осенил Господь наши пределы. И даже нашлись те, кто думал, что именно они, земли межгорий, и вылепили женщин такими, какими мы видим их в старости. Такие, несмотря на кухню, сад, курятник, коровник, снадобья и молитвы, не колеблясь возьмут шаль и четки и пойдут спасать невинных. До че-

го же славные у нас жены, думали мужчины, потягивая вино, до чего же красив наш край. А что ход их рассуждений порой прерывался из-за пирога с лисичками, никак не влияло на их искренность. Ибо мужчины горных долин любили свой край и своих жен, и знали, что те связаны с родными местами так же прочно, как сами они преданы своим наделам, и воспринимали полевые работы и тяготы охотничьих облав как дань, которую надо платить судьбе за ее щедрость.

Не одобрявший разговоров про знахарей и обычно не упускавший случая пожурить паству кюре чувствовал, что бой с суеверием вязнет в медовой груше, которую ему подали с полным бокалом доброго вина. Но он был славный человек, который от души любил покушать (не то что некоторые, что терпимы к другим лишь оттого, что сами беспрестанно грешат во плоти) и усвоил, едва окончив семинарию и приехав в деревню, что люди земли редко отклоняются от веры и что следует уметь выбирать, с чем бороться, если хочешь быть с ними на одной стороне. А он именно так и понимал свою миссию: он хотел быть со своей паствой, а не против нее и тем снискал у прихожан, помимо уважения, извечные щедроты будь то заячий паштет

или айвовый мармелад, которые Евгения умела превратить в царские яства.

И в этой мирной атмосфере, когда все как следует прониклись сладостью тимьянового меда и хмелем наших виноградников, Марсело решил затронуть тему, которая показалась ему тут вполне уместной.

— С тех пор как поселилась у нас малышка, погода-то стоит лучше некуда, а?

В жарко натопленной комнате, где клевали носом бабульки, где мужчины откинулись на спинки стульев, смакуя стаканчик на посошок, где, ни на кого не глядя, но замечая все, размышляла Мария, пронесся долгий вздох. Словно сама ферма втянула, а после выдохнула большой глоток ночного воздуха, прежде чем задержать дыхание и застыть. Повисла огромная тишина, полная гула, который производили пятнадцать тел, выбрасывая в окрестный воздух мощный поток тревоги и сосредоточенности. Однако в этом внезапном оцепенении чувствовался поток желания, и все понимали, что каждый замер лишь в ожидании давно обещанного цветения. Только Мария, казалась, не принимала участия в происходящем, остальные же были напряжены, как индейский лук (образ этот пришел

на ум кюре, на тот момент как раз читавшему книгу одного миссионера, отправившегося к индейцам), и никто не сказал бы в этот момент полного сосредоточения, чем оно разрешится.

Наконец тот же Марсело, которому стало невтерпеж, прокашлялся и вопросительно уставился на святого отца.

То был сигнал к оттепели, и все заговорили — громко, беспорядочно и суматошно.

— Одиннадцатое лето подряд наши пашни отливают таким золотом, — говорил деревенский староста.

— Снег в самый срок и дичи полно! — восклицал Жанно.

И правда, леса межгорий были в округе самыми щедрыми на дичь, так что нелегко было уберечь их от посторонних вторжений, потому что парни из соседних мест, лишенные такого изобилия, нередко заглядывали сюда, чтобы как-то приглушить досаду.

— А сады у нас как хороши, — вторила Евгения, — персики и груши — прямо как в раю!

Тут она с беспокойством взглянула на кюре, но именно так она представляла себе райский сад — с золотыми персиками, бархатистыми, как поцелуй младенца, и с такими сочными

грушами, что вино в сироп добавлялось только по слабости (а так-то чистый грех). Но у кюре имелись заботы и помимо старушечьего представления о райских персиках. К тому же бабулька славилась такой набожностью, что, вообрази она, что персики синие, а груши способны говорить, ему было бы абсолютно все равно. Главное, что он увидел, — паства хранит про себя соображения, явно попахивающие магией. Однако он смутился. Он был хотя и деревенским кюре, но необычайно образованным для человека столь скромной должности. Он страстно увлекался рассказами путешественников и нередко всхлипывал, сидя под лампой и читая о страданиях, пережитых его собратьями, отправившимися нести слово Божье в Америку. Но прежде всего он увлекался лекарственными и ароматическими растениями и каждый вечер писал своим красивым почерком семинариста заметки о сушке или лечебном использовании лекарственного сырья, на тему которого располагал впечатляющей коллекцией ценных гравюр и мудрых книг. И эта культура, возникшая оттого, что он был добр и любознателен, сделала его человеком, способным сомневаться, кто не хватался за требник при каждом необычном событии,

но подходил к делу скорее с разумной опаской. Так вот по поводу процветания междугорья в последние ровно одиннадцать лет ему приходилось признать: оно было реальным, и даже более чем реальным — волшебным. Достаточно было пройтись по проселкам, чтобы заметить, как хороши деревья и глубоки пашни, заметить обилие насекомых, которые собирали взятки и опыляли, и вплоть до стремительно налетающих стрекоз, чьи вибрирующие плотные рои, невиданные в других местах, Мария разглядывала в летнем небе. Ибо сонм благодеяний, половодье янтарных плодов и обильных урожаев фокусировался на селении, его дорогах и близлежащих лесах и четко прекращался за невидимой чертой, более явственной для жителей этих мест, чем границы великих европейских договоров. В тот вечер им вспомнилось одно весеннее утро два года назад, когда все вышли на крыльцо и вскрикнули от удивления и восхищения при виде огромного ковра из фиалок, укрывшего поля и косогор своим невесомым разливом. Или же один рассвет охотного дня четырьмя годами раньше, когда мужчины, выйдя в шарфах грубой вязки и шапках-ушанках на мороз, с удивлением увидели, что улицы селения черны от зайцев, которые

направлялись в лес. Такое произошло только раз, но что это было за происшествие! Мужчины последовали за зайцами до самого леса, никому и в голову не пришло подстрелить хоть одного по дороге! Потом косые бросились врассыпную, и началась нормальная охота. Но сначала они как будто продемонстрировали, как их много, а после все пошло своим чередом.

И потому кюре был смущен. Инстинктивно, как собака чует зверя, он ощущал, что Мария — это самая что ни на есть аномалия, никак не связанная с Богом. А та сокровенная часть его души, которая у человека церковного может выразиться только в описании целебных свойств настойки полыни или применения крапивы в виде мази, также улавливала связь между появлением на снегу новорожденной и удивительной благодатью, сошедшей на округу. Он посмотрел на девочку. Казалось, она дремала, но кюре почувствовал в ней осязаемую бдительность и понял, что она слышит и видит все, что делается вокруг нее, и что ее видимая отстраненность есть проявление одного из тех состояний, которые верующие переживают в самозабвении молитвы, когда дух отделяется от тела, запечатлевая при этом мир с удесятеренной зоркостью.

Он глубоко вздохнул.

— Есть здесь какая-то тайна, которую надо будет прояснить, — сказал он, поднимая стопку наливки, милосердной рукой поставленную рядом с недоеденной медовой грушей. — Малышка благословенна, и мы выясним почему.

И, твердо решив не упрекать этих славных людей, которым вздумалось видеть фантастических зверей, расстилающих туманы до самого Морванского плато, он также положил себе при случае поговорить с Марией. Его слова произвели именно тот эффект, на который он рассчитывал: все были, пожалуй, удовлетворены признанием наличия тайны со стороны духовного авторитета. Хотя сельчане любили накормить кюре до отвала, он тем не менее стоял особняком, слегка возвышаясь над своей паствой. К тому же всем понравилось, что их вдобавок обнадежили, что рано или поздно сообщат, и, возможно, даже лично от Господа Бога, в чем тут загвоздка. Все, таким образом, были, пожалуй, довольны заключением, которое кюре вывел из наблюдений, наконец-то высказанных вслух. Но никто не испытал настоящего глубокого удовлетворения, и кюре — первый: они просто взяли паузу в поисках отгадки, и можно было отдышаться

и спокойно переждать, но каждый знал, что однажды придется войти в круг жизни, таящей много превратностей и сюрпризов. Истинная вера, как известно, чужда мелочным спорам, она верит в сговор тайн и перемалывает в своей прямодушной цельности соблазны всяческого сектантства.

Густаво
Голос смерти

В начале сентября, за два месяца до событий на французской ферме, Клара в сопровождении Пьетро прибыла в Рим.

Ей было невероятно жаль покидать горы, и эту боль не могла утолить даже роскошь дорожных пейзажей. Сколько девочка себя помнила, она всегда страдала, когда возвращалась в приходский дом, поэтому каждый раз, прежде чем толкнуть дверь кухни, проходила через сад. А поскольку этот уголок, засаженный чудными деревьями, был ей необходим как воздух, она боялась городских стен больше, чем любой другой напасти из страшных снов. На самом деле, очевидно, никто из людей не сумел до сих пор затронуть ее душу так, как горы, и потому снег и бури жили внутри ее сердца, равно открытого для счастья и злокозненных чар. И вот теперь, когда они ехали по городу, ее сердце обливалось кровью. Она видела не только землю, сдавшуюся под нагромождением камней, но еще и то, что сделали с самими камнями, которые встава-

ли к небу ровными прямоугольными блоками и уже не дышали под навсегда изувечившим их гнетом. И потому в нарождающихся сумерках, когда выплескивался на улицу веселый люд, хмельной от возвращения теплых ветров, Клара видела лишь груду мертвых камней и кладбище, где добровольно хоронили себя живые.

Повозка двигалась к вершине холма, где навстречу попадалось меньше людей и где ей дышалось чуть лучше. Всю дорогу Пьетро заботился о том, чтобы ей было удобно, но не пытался разговорить девочку. И она молчала, как бывало всегда, ум ее был занят склонами, нотными станами и музыкальными фразами. Наконец они остановились перед большим зданием с коричневыми стенами, взмывавшими высоко за точеными пиниями, которые расчерчивали аллеи патио и застывшим фонтаном возвышались над каменной стеной. Вниз по стенам благоуханными трескучими побегами к булыжнику мостовой спадали плети жимолости, и окна выбрасывали в сумерки длинные прозрачные полотна кисеи. Их впустили в огромный вестибюль, где Пьетро оставил ее. Потом ее повели через гигантские комнаты, заполоненные картинами и скульптурами, — она смотрела на них с испугом, вскоре

перешедшим в надежду, как будто она чувствовала, что все эти странности, возможно, утешат ее в тоске по горам. Наконец перед ней открыли дверь в комнату, белую и голую, с единственной картиной на стене, и оставили ее одну, сказав, что скоро приготовят ванну и подадут ужин, что, устав с дороги, все лягут пораньше и что утром за ней придут и отведут к Маэстро.

Она приблизилась к картине, испытывая странную сумятицу чувств, от почтения до опаски. «Я знаю вас, но не знаю откуда». Прошло довольно много времени. Потом в эфире комнаты что-то изменилось, и Клару охватил легкий транс, слои живописи дрогнули, теперь она видела картину не двухмерной, не плоской, но по-новому глубокой, так что перед ней открылась дверь в обитель грез. Клара уже не знала, спит она или бодрствует, а время летело со скоростью высоких облаков в чернильно-серебряной лазури. Видимо, она заснула, ибо сцена изменилась и она увидела женщину, которая смеялась в вечерней тишине летнего сада. Она не могла рассмотреть лицо, но та была явно молода и очень жизнерадостна — потом женщина пропала, и Клара видела лишь переливы колеблющихся чернил, пока не погрузилась в последний сон, лишенный

видений.

— Мы пойдем к Маэстро, — сказал ей Пьетро назавтра. — Он человек непростой, но ты сыграешь для него, и этого будет достаточно.

Кабинет Густаво Аччиавати располагался на последнем этаже красивого жилого дома с высокими окнами, откуда в комнаты вливалось солнце, превращая паркет в озеро текучего света. Сидевший перед фортепиано человек казался одновременно очень молодым и очень старым, и, встретившись с ним взглядом, Клара вспомнила дерево, на которое забиралась, когда ей было грустно. Его корни ушли глубоко в землю, но ветви были сильны, как молодые побеги, оно бдительно охраняло и озаряло все вокруг и слушало ее так, что не надо было говорить. Клара могла по памяти описать форму каждого камня своих дорог и нарисовать все ветви своих деревьев, но человеческие лица проплывали мимо, как во сне, и растворялись в общей неразберихе. Однако этот человек, молча смотревший на нее, казался таким же рельефным и живым, как родные деревья, и в изумлении, которое почти причинило ей боль, Клара различала шероховатость его кожи и оттенки радужки глаз. Она неподвижно стояла перед ним. «Я вас знаю,

но не знаю откуда». Осознание того, что он понимает, кто она такая, мгновенной вспышкой взорвало пространство разума и сразу погасло. Внезапно она заметила в углу комнаты съежившуюся на стуле фигуру. Взгляд привлекло какое-то движение, и ей показалось, что это мужчина, невысокий, с рыжими волосами и, насколько она могла судить, с небольшим брюшком. Он похрапывал, уронив голову на плечо. Но поскольку никто не обращал на него внимания, она тоже о нем забыла.

И тут Маэстро заговорил.

— Кто обучал тебя музыке? — спросил он.

— Алессандро, — ответила она.

— Он уверяет, что ты научилась сама, — возразил он. — Но никто не может научиться за один день. Тебе давал уроки кюре?

Она отрицательно покачала головой.

— Другой житель селения?

— Я не лгу, — сказала она.

— Лгут взрослые, — ответил он, — а дети им верят.

— Значит, и вы можете солгать, — сказала она.

— Ты знаешь, кто я?

— Маэстро.

— Что ты хочешь сыграть?

— Не знаю.

Он знаком велел ей сесть к инструменту, отрегулировал табурет, сам сел рядом и раскрыл ноты, стоявшие на пюпитре.

— Ну, играй, — сказал он, — играй же. Я буду переворачивать страницы.

Взгляд Клары быстро и жадно обвел раскрытые ноты — ресницы взмахнули раз, второй, третий, — и необъяснимое выражение прошло по лицу Маэстро. Потом она заиграла. Она играла так медлительно, с такой болью, с таким совершенством, что никто не мог говорить. Она доиграла до конца. Воцарилась тишина. Маэстро не знал никого из взрослых, кто сумел бы так исполнить эту прелюдию, потому что девочка играла с грустью и болью ребенка, но с значимостью и совершенством зрелого человека, тогда как никто из взрослых людей уже не может достичь магии того, что молодо и зрело одновременно.

После долгого молчания Маэстро попросил ее уступить место и сыграл первую часть сонаты. В конце он ввел в нее крошечное изменение. Она, не мигая, смотрела куда-то в пустоту.

Маэстро попросил ее повторить то, что она

слышала. Она согласилась. Он сходил за нотами. Она играла по написанному и не внесла изменение, но, дойдя до нужного такта, подняла голову и взглянула на него. Потом принесли множество других нот и разложили перед ней. Она открывала один сборник за другим, ресницы взлетали раз, второй, третий, и с каждым взмахом все умирало и возрождалось в лавине снежных хлопьев, вырвавшихся из забытого сна. Наконец все будто замерло в огромной дрожащей тишине. Один-единственный взмах, Клара вгляделась в страницы потрепанных нот в красной обложке и вздрогнула, словно перед внезапно разверзшейся пропастью. Она вновь села за фортепиано и сыграла русскую сонату; от этой музыки она ощутила головокружение, какое бывает на горных вершинах; и все поняли, что именно так, в ярости и покое, с жадностью и остервенением, должны жить и любить люди в мире, пронизанном красками земли и грозы, в мире, что голубеет на рассвете и хмурится под ливнем.

Шли минуты. «Я вас знаю, но не знаю откуда».

Раздался негромкий стук в дверь.

— Кто? — спросил Маэстро.

— Губернатор Сантанджело, — ответили ему.

Клара осталась в комнате наедине с низеньким рыжеволосым толстяком, который не сдвинулся с места и вроде бы не подавал признаков пробуждения. Ей принесли чаю и неизвестные плоды в оранжевой бархатистой кожуре и дали новые ноты, подчеркнув, что Маэстро велел сыграть лишь одну из пьес. Первая показалась ей богохульством, и она тут же закрыла ее, отшатнувшись от строк, напомнивших визгливые всхлипы органа на заупокойной мессе. Ни одна другая пьеса не произвела на нее столь мертвящего впечатления, но она открывала многие из них, не находя того, что потрясло ее в русской сонате и тогда, в Санто-Стефано, в первой пьесе, которую Сандро раскрыл перед ней в церкви. Наконец она дошла до тонкой тетрадки, первая страница которой завертелась в воздухе невиданными арабесками. Завитки мелодии взлетали в воздух, легкие как перышки, и фактурой напоминали бархатистую кожицу прекрасных плодов. До этого, когда она играла русскую сонату, там была роскошь деревьев с серебряными листьями, за ними вставали широкие сухие степи, пересеченные реками. А в самом конце у нее перед глазами возник ветер, несущийся по пшеничному полю, его порывы вдавливали

стебли в землю, и они снова возрождались, поднимаясь со звериным воем. Но эта новая музыка вводила в формулу пейзажей какую-то приветливость, проблескивающую в них, как в рассказах Алессандро, и она чувствовала, что для такой легкости нужны глубокие корни, и спрашивала себя, узнает ли она когда-нибудь радостные застолья края, где эта приветливость родилась. По крайней мере, теперь она знала, что бывают страны, где красота рождается из ласки, тогда как ей самой знакомы были лишь упорство и героизм, и ей это нравилось, и она узнавала вкус незнакомого плода, знакомясь с музыкой, рассказывавшей о его почве. Доиграв отрывок, она еще минуту мечтала о неведомых землях и неожиданно заулыбалась в своем полуденном одиночестве.

В такой светозарной мечтательности прошел час, когда из соседней комнаты до нее донеслись приглушенные звуки.

Среди возбужденных голосов она узнала голос Маэстро, который провожал какого-то посетителя, потом услышала незнакомый голос и, хотя слов было не разобрать, встала с бьющимся сердцем, ибо то был голос смерти, бросавший угрозы, которые в ее ушах звенели набатом. И с какой бы

стороны она ни смотрела на эту картину хаоса, она леденела от страха, видя зловещую тень на бескрайнем пространстве ужаса и беспорядка. Наконец, голос казался в два раза страшнее оттого, что был прекрасен, и эта красота шла от древней силы, теперь устремившейся в иное русло.

«Я вас знаю, но не знаю откуда».

— Надо признать, руки у тебя ловкие, — послышалось сзади.

Рыжий поднялся, похоже не без труда, потому что спотыкался на ходу, неуверенно проводя рукой по волосам. У него было круглое лицо, двойной подбородок, придававший ему вид ребенка, и живые блестящие глаза, которые сейчас немного косили.

— Меня зовут Петрус, — сказал он, склонившись перед ней и тут же растянувшись на паркете.

Клара изумленно смотрела на него, а он с трудом поднялся и тут же повторил свое приветствие.

— Маэстро не сахар, но этот — исчадие ада, — сказал он.

Клара поняла, что он говорит про голос смерти.

— Ты знаешь Губернатора? — спросила она.

— Губернатора знают все, — растерянно ответил он. И, улыбнувшись, добавил: — К сожалению, я в малопрезентабельном виде. Мы же не очень переносим спиртное, все дело в конституции. Но москато[4] за ужином было божественное.

— Ты кто? — спросила она.

— Ах, правда, — сказал он, — нас не представили. — И он поклонился в третий раз. — Петрус, слуга покорный, — сказал он. — Я у Маэстро вроде как секретарь. Но с сегодняшнего утра я главным образом твоя дуэнья. Согласен, похмелье не лучшее состояние для знакомства. Но я постараюсь сделаться приятным, тем более что ты правда хорошо играешь.

Так текли первые дни в Риме. Клара не забыла голоса смерти, хотя работали они с Маэстро без передышки и не заботясь о том, что происходит снаружи. Аччиавати велел, чтобы она приходила рано утром в пустой кабинет, чтобы не прознали про вундеркинда, которого он взял себе в ученики.

— Рим любит монстров, — сказал он ей, — а я не хочу, чтоб он сделал монстром тебя.

Каждое утро на рассвете Петрус забирал ее

---

[4] Сноски: 4

Москато — сорт игристого итальянского вина (Пьемонт).

из дому и вел по безмолвным улицам, а затем возвращался на виллу Вольпе, туда она возвращалась к обеду.

После чего оставлял ее в зале у патио, где было фортепиано для занятий. Там она работала до ужина, во время которого компанию ей составляли Петрус и Пьетро. Иногда после ужина к ним присоединялся Маэстро, и они снова работали до темноты. Клару удивляла терпимость, с которой Аччиавати и Пьетро относились к Петрусу. Они дружески привечали его и не обращали внимания на странности его поведения. А ведь он не слишком старался держать себя в руках; приходя будить ее по утрам, он дышал перегаром, волосы были всклокочены, глаза мутные. Кларе казалось, что москато первого дня вошел в привычку, потому что ноги Петруса постоянно заплетались, во время занятий он заваливался в кресло и спал, изредка пуская слюну, а порой рычал что-то нечленораздельное. Проснувшись, он с трудом понимал, где находится. Затем Петрус пытался восстановить миропорядок, решительно обдергивая куртку или панталоны, но существенных результатов, как правило, не добивался и в конце концов уныло капитулировал. Наконец, если он вспоминал о существовании Клары

и решался заговорить, это давалось ему не сразу, ибо в исторгаемых им звуках отсутствовали гласные. И все равно она любила его, хотя и не совсем понимала, зачем он при ней состоит, но новая жизнь пианистки целиком поглощала ее энергию, так что на прочие аспекты римской жизни мало что оставалось.

Уроки с Маэстро не походили ни на что, что она могла бы себе представить. Бóльшую часть времени он с ней разговаривал. Когда он ставил перед ней новые ноты, то никогда не говорил, как нужно играть. Но потом задавал вопросы, на которые она всегда знала, что ответить, потому что его интересовало не то, что она подумала, а что увидела. Поскольку она сказала, что русская соната вызвала в ней образы сухих степей и серебряных рек, он заговорил с ней о северных степях и бескрайних странах ракит и льдов.

— Но мощь такого великана под стать его же неторопливости: именно поэтому ты играла так медленно.

Он расспрашивал ее про родное селение, и она описывала черепичные крыши, вершины гор, каждый уступ и каждый пик которых знала наизусть. Она так полюбила часы, проведенные с Маэстро, что в начале ноября, через два месяца

после приезда в Рим, тоска по утраченным горам уже не казалась ей невыносимой. Впрочем, Маэстро особой привязанности к ней не выказывал, и ей казалось, что цель его расспросов — не обучение, а подготовка к чему-то, что ведомо лишь ему. Периодически у нее возникало ощущение, что он знал ее прежде, хотя они встретились только в сентябре.

Однажды, когда они разбирали жутко скучное произведение, и она, не сдержавшись, без причины ускорила темп, он раздраженно заметил:

— Опять ты за старое.

Она спросила название плодов того первого дня и сказала ему:

— Лучше дал бы мне персиков.

Он посмотрел на нее с еще большим раздражением, но положил перед ней ноты со словами:

— К своему несчастью, человек этот был немец, но все же он разбирался в персиках.

Играя и снова улавливая летучие завитки удовольствия, Клара пыталась понять, что она угадала за раздражением Маэстро, — то был порыв, обращенный к кому-то, чей смутный силуэт недолго витал в воздухе. И хотя последующие дни походили на предыдущие, они несли на себе новую печать — переклички с призраком.

Очень часто Маэстро приходил в дом Пьетро после ужина. Фортепиано стояло в большой комнате, выходившей в патио, и, работая, они оставляли окна распахнутыми в прохладный вечерний воздух. Пьетро слушал их, покуривая и попивая наливку, но до конца урока не заговаривал. Петрус, как всегда, дремал в большом покойном кресле, пока не смолкнет фортепиано и его не разбудит наступившая тишина. Потом Клара читала или мечтала под их разговоры, потом ее отводили в спальню, а сами продолжали рассуждать о чем-то в ночи, и еще долго отзвуки их голосов, перелетая спящее патио, баюкали ее сон. И вот однажды вечером, ближе к середине ноября, когда окна не открывали, потому что лил сильный дождь, Клара слушала, как они беседуют, листала ноты, которые принесли для занятий, и услышала, как Аччиавати сказал: «Да найдем ли мы когда-нибудь правильный темп?» Она раскрыла какой-то старый потрепанный сборник.

Черными чернилами на полях возле первых нотных станов были написаны строки:

la lepre e il cinghiale vegliano su di voi quando

camminate sotto gli alberi
i vostri padri attraversano il ponte per abbracciarvi
quando dormite[5]

Мгновение протекло в огромном вакууме чувств, и на глазах у Клары пузырь тишины стал шириться со скоростью волны, прежде чем взорваться в безмолвном апофеозе. Она перечитала стихотворение, взрыва больше не произошло, но что-то изменилось, как будто пространство раздвоилось и она перешла невидимую границу той страны, куда стремилась попасть. Хотя она и подозревала, что пьеса совсем не имеет отношения к этому волшебству, но все же прошла к фортепиано и сыграла отрывок. В воздухе распространился запах ручьев и мокрой земли и загадка качающихся деревьев и потаенных чувств.

Подняв глаза, когда отзвучала последняя нота, она увидела перед собой мужчину и не узнала его.

---

[5] Сноски: 5

Заяц и вепрь сторожат вас когда вы идете под деревьями
Отцы ваши переходят мост чтобы поцеловать вас во сне ***(ит.)***.

— Откуда взялась эта музыка? — спросил у нее Маэстро.

Она указала на стопку нот, принесенных по его распоряжению.

— Почему ты сыграла ее?

— Я прочла стихотворение, — сказала она.

Он обошел фортепиано и глянул ей через плечо.

Она ощутила дуновение дыхания и волны смешанных чувств. Увидев Маэстро при внезапной вспышке, которой удивление высветило его эмоции, она поразилась образам, скользившим, словно на экране. Сначала табун диких лошадей — топот их копыт она слышала еще долго после того, как они скрылись вдали. Потом, в тени подлеска, с аллеями, золотыми от солнечных бликов, она увидела лежащий во мху большой камень. Его выступы и впадины, все его благородные трещины были рождены совместным трудом ливней и столетий. И она знала, что этот прекрасный живой камень — сам Маэстро, потому что человек и валун в необъяснимой алхимии идеально накладывались друг на друга. Наконец образы растаяли, и она снова оказалась перед человеком из плоти и крови, серьезно смотревшим на нее.

— Ты знаешь, что такое война? — спросил он. — Да, конечно, ты знаешь… Увы, надвигается война, еще более долгая и страшная, чем прошлые войны, задуманная людьми еще более сильными и страшными, чем в прошлом.

— Губернатор, — сказала Клара.

— Губернатор, — сказал он, — и еще другие.

— Это дьявол? — спросила она.

— В некотором роде — да, — ответил он, — можно сказать, что это дьявол, но здесь главное не имя.

О дьяволе девочка-сирота, воспитанная в деревенском приходском доме, уже слышала, и не было человека на всех Апеннинах, который не знал бы про битвы, которые с ним вели, и не осенял бы себя крестом, поминая тех, кто в них пал. Но помимо рассказов своего детства, Кларе казалось, что она понимает, откуда идет желание воевать с дьяволом. То, что люди жили в склепах, выстроенных тесными рядами, казалось ей достаточным, чтобы объяснить происки голоса смерти, и она спрашивала себя, думает ли живой камень — Маэстро — так же, как она.

— Войны разворачиваются на полях сражений, но замышляются они в кабинетах правителей,

что поднаторели в манипуляции вымыслами. Однако бывают другие места и другие вымыслы… Я хочу, чтобы ты рассказала мне о том, что ты видишь и слышишь, о прочитанных стихах и об увиденных снах.

— Даже если не знаю зачем? — спросила она.

— Надо доверять музыке и поэзии, — ответил он.

— Кто написал стихотворение? — спросила она снова.

— Член нашего союза.

Потом, после долгого молчания, добавил:

— Я только могу сказать, что оно предназначено тебе. Но я не думал, что ты сможешь прочесть его так рано.

В ту же минуту Клара увидела, что Пьетро ищет стихотворение на нотной странице, и по тому, как он смотрел на ноты, поняла, что он его не нашел. И стоявший напротив Густаво Аччиавати улыбнулся.

Вскоре Петрус отвел ее в спальню, где были закрыты все окна, потому ливень продолжал упорно грохотать снаружи.

— Не дают мне делать свое дело, — сказал он ей при расставании.

— Твое дело? — спросила она.

— Мое дело, — сказал Петрус. — Они все такие серьезные и холодные. Меня взяли, потому что я сентиментален и болтлив. Только они весь день заставляют тебя играть, а вечерами грузят всякими войнами да коалициями. — Он изящно поскреб в затылке. — Я слаб до выпивки и, может быть, не слишком умен. Но я хотя бы умею рассказать историю.

Он ушел, а она заснула, или, по крайней мере, ей так казалось, и в беззаботном свечении стен и прорезей в ставнях услышала, как Пьетро на той стороне патио говорит:

— Малышка права, это дьявол.

И голос Маэстро ответил ему:

— Но кто совратил самого дьявола?

И она провалилась в сон по-настоящему.

То была странная ночь и странный сон. Сновидения обладали неведомой доселе четкостью и оттого казались провидческими озарениями, а не химерами ночи. Мария охватывала взглядом пейзажи, как озирают местность, лежащую впереди, и поняла, что видит дороги незнакомого ей края, словно выискивая спуск по тропинкам склонов. Гор видно не было, но этот край обладал каким-то пронзительным обаянием, она ощущала силу его благодатной почвы и ра-

довалась изобилию деревьев. И хотя прелестью они не могли сравниться с персиками, но обладали той гибкостью, что неведома в горах, в итоге рождая гармонию, до глубины души трогавшую Клару, — наделенной естественной жизненной силой, требовательностью, под которой пряталась улыбка, так что за два месяца она увидела весь спектр, прекрасные пахотные земли, бархатистые персики, сулящие наслаждение, а на противоположном полюсе — суровые, гордо вздымающиеся горы. Более того, любуясь рустовкой каменных оград, она прочувствовала ту неброскую, но мощную красоту, что затмевает благостное довольство тучных земель и превращает пейзажи с могучими деревьями и тенистыми тропами в увлекательную историю, полную листвы и любви. Она увидела деревню, стоящую на склоне холма с церковью и домами, чьи массивные стены говорили о суровости зим. Однако чувствовалось, что с весной сюда приходит ясная погода и стоит до осенних заморозков, и то ли из-за отсутствия гор, то ли от обилия деревьев, но ясно было, что здесь у людей обязательно найдется час отдохнуть от трудов. Наконец, она замечала скользящие тени, не различая ни фигур, ни лиц; и они в безразличии проходи-

ли мимо, хотя ей так хотелось спросить, что это за селение и что за плоды висят в его садах.

И вдруг — словно вспышка. Она не знала ни откуда та возникла, ни куда ушла, но видела, как та пронеслась и скрылась за поворотом дороги. Как бы мимолетно ни было ее появление, каждая черта запечатлелась в ней с болезненной четкостью, снова воскрешавшей перед глазами это лицо с темными зрачками, худыми породистыми чертами и тугой золотистой кожей, где рот алел кровавым пятном. Она стала искать ее след и обнаружила девочку на опушке высокого леса, по которой ступал высокий серый конь. Вся панорама вспыхнула светом, и на оледеневший лес наслоился туманный горный пейзаж. Они не вклинивались друг в друга, а смыкались, как облака: она увидела панорамы, которые свивались друг с другом, туда же еще вплетались погоды, и солнце светило, и шел снег под молнией, прочертившей след поверх безоблачного неба. И тогда на сцену пал смерч. В мгновенном озарении, стянувшем в узел поступки и времена, Кларе явились гигантские извивы бури, злые вихри и черные стрелы, яростно взлетающие к небу, в то время как крошечная старушка потрясала палкой, воздетой над всклокоченной

головой. На границе сна и яви она успела увидеть другую сцену, в которой девочка ужинала в компании шестерых взрослых, окружавших ее ласковым и мирным ореолом, и в нем она впервые в жизни увидела материальное воплощение любви. Наконец все исчезло, и Клара очнулась в тишине темной комнаты. Наутро она рассказала Маэстро о том, что ей привиделось во сне. В конце рассказа она добавила имя маленькой незнакомки, потому что оно явилось в озарении и очевидности.

Густаво Аччиавати улыбнулся ей во второй раз.

На этот раз его улыбка была грустной.

— У каждой войны — свои предатели, — сказал он ей. — Со вчерашнего дня Мария в опасности.

Вилла Аччиавати
Малый эльфийский совет

— Кто предатель? — спросил Маэстро.

— Не знаю, — сказал Глава Совета Туманов. — Мы уже не уверены в половине собрания. Это может быть любой из десяти. Я не почувствовал хвоста, и следы были быстро уничтожены.

— Я не видел за тобой хвоста. Ведь есть и другой мост, и другой храм, — сказал Страж Храма. — Нужно усилить защиту Марии.

— Нет, — сказал Маэстро, — ей нужно наращивать силы, а Клара должна упрочить их связь.

— Мы совершенно не представляем, как действовать, но при этом делаем из девочек солдат.

— Уж точно можно сказать, — произнес Петрус, — что вы не даете им наиграться в куклы, да и вообще не слишком помогаете.

— Ты написал стих сразу после смерти Терезы, — сказал Маэстро Стражу Храма, — а она нашла его сегодня. Я пошлю ее Марии.

— То стих, то музыка, что и говорить — куча объяснений, — сказал Петрус. — Как им понять, кто такие эти заяц и вепрь?

— Мария видела меня в день своего десятилетия, — сказал Страж Храма, — вепрь будет говорить с ней. Вокруг нее люди алмазной огранки. Они превосходят наши надежды.

— А что вы думаете о людях Клары? — спросил Петрус. — Ни друзей, ни семьи, ни матери. Суровый профессор с его загадочными фразами и непомерная работа. А ведь Клара в вашей команде юных воительниц — настоящий мастер. Надо беречь ее сердце и чувства, а это невозможно, когда ее тренируют, как новобранца.

— В жизни Клары должна быть женщина, — сказал Глава Совета Туманов.

— Они встретятся, если Пьетро убедится в ее безопасности, — сказал Маэстро. Потом, помолчав, добавил, обращаясь к Стражу Храма: — Ты слышал, как она играет… да, я знаю, она твоя дочь, и ты слышал ее прежде меня… какая мука… и какое чудо…

Мария
Заяц и вепрь

После волнений из-за серого коня и налетевших вихрей жизнь на ферме вернулась в свой деревенский ритм, с его охотами, рассольным сыром и походами в лес. Теперь, когда факт хорошей погоды был подтвержден и фермами, и амвоном и колокольней, можно было спокойней на него рассчитывать, и, глядя на мягкий снег, который в ту зиму выпал именно тогда, когда люди вспомнили про заготовку дров, радуясь череде рассветов, хрустких, как хлебная корочка, озарявших небо розовыми полосами, прозрачными, как любовь, коптя и засаливая куски дичи, которая словно не иссякала, — глядя на все это, люди непременно качали головой или переглядывались и, особо не комментируя, возвращались к начатому делу.

По поводу охоты отец однажды вечером сделал замечание, от которого у Марии настороженно поднялась бровь. Ужинали салом и печеной свеклой, приправленной ложкой сметаны и крупной солью.

— Дичь обильна, но лишнего не бьют, — сказал он.

Мария улыбнулась и уткнулась носом в дымящуюся свеклу. Андре Фор был человек крестьянского склада, суровый и немногословный, ступал тяжело и никогда не спешил. В колке дров его мог обогнать любой житель селения, но поскольку упорство вкупе с размеренностью давали результат еще более замечательный, чем проворство, то именно отца Марии вдовы просили заготовить дрова на своих делянках: деньги он запрашивал скромные, хотя они готовы были заплатить впятеро больше.

Того же ритма он придерживался во всех прочих делах, в том числе и интимного свойства. Он не выказывал особого горя в испытаниях и утратах, хотя они были ужасны, ибо у них с женой двое сыновей умерли в младенчестве. Но боль оставалась мучительной дольше обычного. К счастью, так же было и с радостями, и Мария стала его благословением в зрелые годы, хотя эта любовь никогда не выражалась вспышками, в каких-то наружных проявлениях. Напротив, он распределял ее равномерно, как прополку сада или вспашку поля, без суеты и остановок, и потому наслаждался ею как даром, равно озарявшим

годы его жизни. Точно так же при разговоре он старался, чтобы слова не нарушали равновесия чувств, а ненавязчиво отражали их очертания. Все это Мария знала и потому ответила одной лишь улыбкой на замечание отца, мелькнувшее над ужином, как стая юных дроздов.

Но он был прав: лишнего не били. Тому, кто мог подумать, что обилие дичи приведет к разгульному своеволию отстрела, факты ответили поразительным опровержением. От сонма дичи, заполонившей леса и знаменовавшей улов куда более богатый, чем выпадал их далеким предкам, у жителей селения развилась особая осмотрительность, заставлявшая тщательно выбирать добычу. За последние зимы они покончили с парой кабаньих выводков, разорявших картофельные поля, заполнили погреба запасами солений и собрали с лесов дань еды для застолий — но не больше, чем нужно для поддержания телесных сил после трудового дня. Более того, загонщики теперь выступали скорее посланцами, чем разведчиками, и охотничьи позиции распределялись очень бережно, что превращало охоту еще в один способ общения. Конечно же, выгнав дичь на просеку, никто не выбрасывал белого флага и не просил зайцев удобней выйти

под ружье, но все же их поднимали уважительно и не стреляли без необходимости.

На самом деле замечание Андре возникло оттого, что тем утром им пришлось выдворять с закрепленных за селом угодий охотников из соседнего кантона, которые из-за нехватки собственной дичи пытались контрабандой пошустрить на склонах наших холмов. Где было полно и зайцев, и фазанов, и даже несколько косуль, которых они застрелили, как дикари, с гоготом, вызвавшим у деревенских парней такое отвращение, что они откликнулись соседям дробью и свинцом. Но хуже было то, что эта удалая схватка на сей раз не стала предметом молодецкой гордости, не достигла обычной цели, ибо у мужчин осталось чувство неудовлетворенности, которое один из них (тот же Марсело) отлично выразил, когда все вернулись на фермы, выдворив соседскую шантрапу и проверив каждый уголок рощи: «Нехристи чертовы, никакого почтения к делу». Отсюда и замечание отца; но Мария могла уловить, что из событий дня были сделаны соответствующие выводы.

Вообще же, в том, что касается излияния чувств, Мария никакой нехватки не испытывала: местные женщины щедры были на них так же,

как на молитвы Отцу Небесному и на кружки молока, которыми они пытались отпоить маленькую худышку (но все равно красавицу). К тому же, сколько она помнила, по возвращении на ферму ее всегда ждал мясной рулет. Но из всего, что давали коровы, Мария предпочитала сыр и, к великому горю Жанетты, лучшей стряпухи в шести окрестных кантонах, всячески избегала тушеного мяса, рагу и вообще сложных блюд. Она шла в кухню и набирала себе на ужин отдельные продукты: сырую морковку и кусочек вареного мяса, который она съедала отдельно со щепоткой соли и веточкой чабреца. Единственное, ради чего она отступала от этой лесо-полевой диеты, — это шедевры Евгении, признанной мастерицы по части варений и отваров из цветов. Да и кто бы устоял при виде ее кулинарных шедевров? Ее айвовым мармеладом обносили гостей после первого причастия и даже на свадебных церемониях, простые отвары и те, казалось, были исполнены волшебства. А как иначе объяснить то блаженное покряхтывание гостей в конце каждой такой трапезы. Впрочем, Евгения в основном увлекалась заготовкой лекарственного сырья: сам кюре часто у нее консультировался и высоко ценил ее мнение,

ведь она знала поразительное количество ингредиентов с их лечебными свойствами, открытыми еще в древние времена и абсолютно ему незнакомыми. Но опиралась она в основном на те растения, которые во множестве встречались в округе и чья действенность подтверждалась многолетним применением, так что в конце концов составила «победоносную триаду», которая, по крайней мере у нее на ферме, помогала от всякой хвори: тмин, чеснок и боярышник (который она называла белой колючкой или птичьей грушей; кюре проверил эти названия, и они действительно оказались самыми древними народными названиями лечебного кустарника). Мария обожала боярышник. Она любила его за серебристую кору, которая с возрастом становится коричневой и бугристой, за легкие белые цветы, так нежно подкрашенные розовым, что просто плакать хочется, любила вместе с Евгенией в первые дни мая срывать их, осторожно, стараясь не помять, — и сразу раскладывать на просушку в тени чердака, словно надевшего подвенечный убор. Она любила и отвар, который готовили каждый вечер из расчета ложка цветов на стакан кипятка. Евгения уверяла, что он укрепляет душу и сердце (что подтверждает и со-

временная фармацея), а также в обязательном порядке возвращает молодость (что документально не подтверждено). Словом, хотя Евгения и была постарше Анжелы и глазами слабее, но все знали, что эту бабульку на мякине не проведешь. И если Анжела очень рано почуяла, что Мария из породы волшебниц, то и Евгения тоже после событий в роще ощущала это все сильнее. Однажды рано утром, сойдя вниз на кухню после первой молитвы, она застыла перед большим деревянным столом, за которым обычно трапезничали. В комнате было тихо. Другие бабульки кормили кур и доили коров, отец ушел осматривать фруктовые сады, а Мария еще спала под красным пуховым одеялом. Евгения застыла одна-одинешенька перед столом, на котором стоял глиняный кофейник, стакан воды на случай, если кому захочется пить, и три зубчика чеснока для ужина. Она сосредоточилась, но в результате увидела только реальные предметы, это ей мешало, потом расслабилась и отвлеклась от того, что маячило перед глазами.

Вот она видит стол, каким он был накануне — когда она загасила лампу и последней ушла с кухни. Вот она снова ощущает мирное тепло горницы, где только что сидела за ужином

счастливая семья, присматривается к темным углам, куда достигают лишь слабые отблески света, и возвращается взглядом к столу, где лишь стакан с водой, кофейник да три забытые дольки чеснока. И тут она понимает, что Мария, которой случается бродить по дому в сонной темноте, приходила сюда ночью и передвинула зубчики чуть-чуть — и стакан тоже; тут речь идет скорее о миллиметрах, и этот незаметный сдвиг трех обыденных вещей полностью изменил пространство, обратив кухонный стол в какую-то живую картину. Евгения знает, что слов ей не подобрать, ибо она родилась крестьянкой, в глаза не видала иных картин, кроме тех, что висят в церкви и рассказывают про Священное Писание, и не ведает ничего прекраснее полета птиц и красок весенней зори, лесных тропинок в светлом лесу и смеха любимых детей. Но ее охватывает железная уверенность, что Мария своей композицией из трех зубчиков чеснока и стакана сотворила мир, вплотную подходящий к Божественному творению. Кроме того, старуха замечает, что вдобавок к легкой перестановке вещей имеется еще одна деталь, которую как раз сейчас высвечивает луч заглянувшего солнца, и это завиток плюща, просто положенный рядом

со стаканом. Совершенство. У Евгении нет слов, но все же есть дар. Она видит, и так же, как видит действие лечебных трав и меру исцеляющих движений, она ощущает гармонию, в которой малышка расположила элементы, ту интенсивную связь, которая установилась между ними с чередованием пустот и предметов, отсекая, как рамой, пространство бархатной тьмы. И Евгению, по-прежнему одиноко стоящую в кухне под лентами чепца, венчающего восемьдесят лет настаивания боярышника, все так же бессловесно, но милостью сердечной чистоты и Божьего дара пронзает великая сила искусства.

В то утро Мария проснулась рано и спустилась в погреб отрезать кусок сыра. Но потом не отправилась к деревьям до начала уроков, а вернулась на кухню, где Евгения, стоя на боевом посту, размешивала в медной кастрюле смесь листьев сельдерея, цветов фиалки и листьев мяты, предназначавшихся для одной роженицы, у которой все не прибывало молоко. Мария уселась за большой стол, где по-прежнему лежали дольки чеснока.

— Там сельдерей? — спросила она.

— Сельдерей, фиалка и мята, — ответила Евгения.

— Сельдерей садовый? — спросила Мария.

— Садовый, — опять ответила Евгения.

— Сорвала в нашем саду?

— В нашем.

— Он пахнет получше, чем дикий?

— Гораздо лучше.

— Но действует слабее?

— Когда как, ангел мой, смотря откуда ветер.

— А фиалка ведь грустный цветок?

— Ты права, грустный.

— Ее ведь дарят, чтобы высказать печаль?

— Ее могут дарить и для того, чтобы вежливо выразить свою печаль.

— Это фиалки из наших лесов?

— Это фиалки с косогора, который за кроличьими садками.

— Но они же действуют слабее, чем лесные?

— Когда как, девочка, как ветер ляжет.

— Тетушка, а мята?

— Что — мята, девочка?

— Откуда она взялась в такое время?

— Ветром принесло, ангел мой, как и все остальное, ветром принесло туда, куда Бог велел и где мы сорвем ее и поблагодарим Его за щедроты.

Мария любила эти беседы, и ответы были ей бесконечно дороже тех речей, что звучали

в церкви, она сама напрашивалась на разговор по причине, которая прояснится далее в свете одного нового происшествия, захлестнувшего в тот день своими экзотическими ароматами скромный мир фермы.

Незадолго до одиннадцати в дверь постучался Жанно. Собравшиеся в полном составе бабульки вершили одно исполинское дело, ибо вскоре завершался пост и намечался большой ужин, призванный вознаградить недавние добровольные лишения. Кухня благоухала чесноком и дичью, стол ломился от роскошных корзин, самая внушительная из которых полнилась первыми в этом году опятами. Их собралось такое множество, что они выпадали во все стороны из ивовой плетенки, их хватило бы на десять дней благоуханных кушаний и ароматных банок солений. И это в начале апреля!

Сразу было видно, что Жанно взбудоражен, но сдерживается, исполняя служебный долг: на нем была фуражка почтальона, он прижимал к себе кожаную сумку, с которой обычно совершал обход. Его провели в тепло и, хоть и сгорали от любопытства, все-таки поднесли ломоть мясного рулета и стаканчик местного вина, ибо дело было нешуточное и почтение следовало

выказывать, как обычно в наших краях, — жареной свининой и красным вином. Но Жанно едва притронулся к угощению. Вино, конечно, из вежливости выпил, но видно было, что все его мысли поглощены драмой, которая сейчас с его помощью разыграется. Над горницей повисла тишина, нарушаемая лишь потрескиванием огня под котелком, где тушился кролик. Женщины вытерли руки, отложили прихватки, оправили чепцы и, так же молча притянув стулья, дружно сели.

Время замерло, подрагивая, как закипающее молоко. Снаружи зарядил дождь, славный ливень, ей-богу, он полился из черной тучи, которая разверзлась разом и собиралась на целый день напоить цветы и животных, и горница полнилась шумом воды и шепотом огня, которые все равно заглушались молчанием, непомерным для пяти людей, сидящих за столом и пытающихся расслышать поступь судьбы.

Потому что они не сомневались: именно судьба надела на лицо Жанно маску торжественности, с которой он говорил лишь о войне. Он прошел ее вестовым, но наравне с другими хлебнул лиха и страданий, понюхал пороха и дыма сражений. Все смотрели, как он еще раз хлебнул вина,

на этот раз для храбрости, и знали, что он подкрепится и приступит к делу. И потому ждали.

— Значит так, — сказал наконец Жанно, вытирая рот рукавом, — мне тут надо вручить письмо.

И он открыл сумку, достал оттуда конверт и положил его посреди стола, чтобы все могли вдоволь на него наглядеться. Бабульки встали и склонились к письму. Снова наступила тишина, широкая, благоговейная, как в первобытной пещере. Конверт в грозовой полутьме белел, как кладезь света, но бабулек на тот момент интересовали только черные чернильные буквы, которые гласили:

Марии
На ферму «У оврага»

К сему добавлялась марка, подобной которой не видел никто и никогда.

— Марка итальянская, — прервал молчание Жанно, видя, как бабульки подслеповато вглядываются в таинственный прямоугольник.

И они тут же плюхнулись на соломенные сиденья стульев. Снаружи дождь полил с удвоенной силой, стало темнее, чем в шесть вечера. Запах кролика, томящегося в вине, сливался

со звуком воды снаружи, и все пространство дома окутывало уютом маленькую группу людей, что склонилась над конвертом из Италии. Еще минута протекла в молчании и муках нерешительности, потом Жанно кашлянул и снова взял слово, сочтя, что приличествующее осмотру время вышло.

— Так что, может, вскрыть его? — спросил он голосом одновременно нейтральным и ободрительным.

Бабульки глянули друг на друга из-под чепцов с одной и той же мыслью, а именно что по такому случаю надо бы собрать семейный совет в полном составе. А сделать это можно будет, только когда отец вернется с пахоты, а мать из города, где она уже три дня гостит у сестры, чья младшая дочь болеет легкими (взяла туда целую торбу мазей от Евгении, которых там с нетерпением ждали, разочаровавшись в официальных снадобьях. Они помогали мало, а силы девушки таяли на глазах). То бишь, лихорадочно считали в уме четыре старушки, завороженные словом «Италия», через два дня и две ночи. Мука мученическая.

Жанно, следивший за умственными метаниями хозяек так, словно он их слышал, снова

прочистил горло и высказался — по мере сил твердо и ободрительно:

— А то вдруг что срочное.

Неисповедимы пути почтовые, идущие из Италии до самого междугорья, но что точно можно предположить, что в три часа их не одолеешь, а значит, и не выберешь в годину бедствий. Тем паче без адреса и фамилии. Но несмотря на это, в гостиной, помимо дождя и тушеного кролика, замаячила какая-то неотлагательная срочность. Анжела посмотрела на Евгению, та на Жанетту, та на Марию, и все переглядывались по кругу, пока и подбородки их не закачались вкруговую, с синхронностью, которая восхитила бы любого опытного хормейстера. Кивки продолжались еще минуты две-три, подбородки двигались все решительней, так что к делу присоединился и Жанно, созревший уже было для добавки рулета, но не желавший разрушать чудесную согласованность этих движений. Потом решение было принято.

— Можно хоть вскрыть, — сказала Анжела, — ничего не изменится.

— Действительно, — сказала Евгения.

— Только вскроем, — сказала Мария.

А Жанетта ничего не сказала, но думала так же.

Анжела поднялась, достала из буфетного ящика острый нож, в свое время вскрывший так много солдатских писем, взяла итальянский конверт в левую руку, правой рукой просунула в него кончик лезвия и вспорола край.

И тут все взорвалось; дверь махом распахнулась, и на фоне грозового пейзажа в проеме показалась фигура Марии, и дождь, ливший уже полчаса, превратился в потоп такой силы, что слышалось только, как во дворе схлестываются друг с другом потоки воды. Видали в этих краях дождевые паводки, за миг превращавшие землю в дно морское, — но чтоб такое! Тут все было иначе, вода не разливалась по земле, а яростно обрушивалась на нее, превращая всю местность в огромный гудящий барабан, а потом снова взлетала в небо пенными грохочущими фонтанами. Мария миг постояла у двери среди всеобщего оцепенения и устрашающего грохота воды. Потом закрыла дверь, подошла к бабулькам и протянула руку к Анжеле. Та, не понимая, что делает, вложила ей в руку письмо. Мир перекувырнулся и снова встал на ноги, дождь прекратился, и в обретенной тишине кролик, томившийся в соусе, булькнул так, что все вздрогнули. Анжела взглянула на Марию, та взглянула на Анжелу.

Все молчали и были, как никогда, несказанно рады сидеть на тихой кухне, где из латки пахнет кроликом, все смотрели на Марию, у которой в лице появилась некая новая торжественность, и чувствовали, что в ней выкристаллизовался какой-то неведомый каркас души.

— Что, милая? — сказала наконец Анжела, и голос ее чуть дрогнул.

Мария прошептала:

— Не знаю. — И поскольку никто не говорил ни слова, добавила: — Я знала, что мне письмо, — и пришла.

Что делать, когда ритм судьбы ускоряется настолько? Простодушие, которым полнилась горница этой фермы с ее булькающим рагу, хорошо тем, что принимает все, с чем не может справиться. Слова Марии не противоречили извечной вере в то, что мир создан прежде людей и, значит, не исчерпывается их объяснениями. Лишь бы малютка была жива и здорова! И пока Евгения готовила отвар боярышника, все снова расселись по стульям, с которых разом поднялись, когда налетело ненастье, и прилежно ждали, когда Мария собственноручно откроет послание, которое на этот раз безропотно встретило натиск ножа. Из распечатанного конверта Мария

вытащила сложенный вчетверо лист бумаги, такой прозрачно-тонкой, что чернила просвечивали насквозь и потому только с одной стороны листа были написаны следующие строки:

la lepre e il cinghiale vegliano su di voi quando

camminate sotto gli alberi

i vostri padri attraversano il ponte per abbracciarvi

quando dormite

Мария не знала итальянского, но так же, как ответы Евгении она любила за то, что они давали ей в концентрированном виде мир более поэтичный и чистый, чем реальность, так и в этих строках, даже на взгляд, даже если совсем не понимать смысла, слышалась упругая вибрация песнопений. До сих пор прекраснейшими песнями казались ей фиалки и боярышник, их слагала Евгения в своих травяных шкафах, их дополняли кроличьи клети и сельдерей с огорода, ей казалось, что они не уводят в сторону от Бога, а, напротив, отражают веру гораздо понятней, чем церковная латынь. Но эти слова, которые она даже не знала, как уложить во рту, знаменовали собой новую поэтическую почву и открывали

в сердце неведомый прежде голод.

Культ поэзии ежедневно сопутствовал Марии, когда та забиралась на деревья и слушала песнь ветвей и листьев. Она очень рано поняла, что другие двигаются по земле слепо и глухо, для них симфонии, слышные ей, и картины, ей видимые, — это только шумы природы и немые пейзажи. Бегая по полям и лесам, она постоянно вступала в разговор с потоками материи в форме неосязаемых, но видимых траекторий, по которым она понимала движение и излучение вещей. Зимой она оттого любила ходить к дубам у соседского оврага, что эти три дерева тоже любили снег и вырисовывались на его фоне волнующими эстампами, штрихи и линии которых она видела и ощущала так, словно то была застывшая в небе гравюра мастера. К тому же Мария не только общалась с материей, но и разговаривала с животными здешнего края. Она не сразу научилась их понимать. Способность зримо представлять себе прошлое, воспринимать истинное положение вещей, предчувствовать значимое событие вроде доставки письма или неминуемой беды в случае, если не она это письмо вскроет, наконец, способность говорить с жителями лугов, впадин и лесных чащ усилились после

эпопеи на восточной опушке. Она всегда видела мощные магнитные потоки Вселенной, но теперь — как никогда четко. И она не знала, чем это объясняется — тем, что сообщил ей волшебный вепрь, или тем, что изменилось той ночью в ней самой. Возможно, неожиданное открытие тайны ее появления в этой деревне позволило девочке принять присутствие в себе этих даров, или же волшебство сверхъестественного существа наделило ее небывалыми талантами и превратило в совсем новую Марию, даже кровь у которой текла по-другому. Однако то, что она разговаривала с животными с легкостью, росшей день ото дня, не вызывало сомнений. Как и в общении с деревьями, главное было уловить идущие от них вибрации и потоки, которые она считывала, как топографические данные, или слегка раздвигала, чтобы сообщить им собственные мысли. Трудно описать то, что нельзя испытать на своем опыте; возможно, Мария играла с волнами, как другие дети с веревочками, — складывая, подбирая, связывая и развязывая. Так что она давила всей силой своего разума на кривизну линий, ограничивавших ее восприятие мира, и это порождало целый сонм немых слов, обеспечивавших весь спектр возможных диалогов.

Из животных она больше всего любила общаться с зайцами. Их скромная аура была пластична, их бесхитростные речи давали сведения о событиях, на которые другие, более важные звери не обращали внимания. Именно зайцев она стала расспрашивать про серого коня после дня темных стрел и после разговора с ними догадалась, что какая-то степень ее защиты теперь исчезла, — как и почему, она не поняла, но зайцы говорили об откате волны времен года и о какой-то тени, временами мелькавшей в лесу. И главное, хоть они и не могли объяснить, откуда взялся конь, зайцы поняли, что он горюет в разлуке с ней. Она тогда крикнула ему: «Как ваше имя?» — на это у них тоже не было ответа, но они догадывались, что открыть имя ему помешала какая-то сила — недобрая и, увы, могущественная. Мария все чаще встречала в природе отметины этой силы. Однажды вечером, когда она ничком лежала в траве выгона и мысль ее витала вместе с песнями, что разносились в мартовском воздухе, она вдруг вскочила, проворно, как кошка, потому что музыка деревьев внезапно смолкла и на миг сменилась огромным ледяным молчанием. Мария чуть не умерла. К тому же она твердо знала, что это явление не было при-

родным, что его решительно сотворила некая сила, задумавшая зловещее и черное дело, и то, что теперь продлилось едва три секунды, с большей силой повторится вновь. Мария знала и то, что слишком молода, чтобы постичь борьбу великих, соперничающих друг с другом сил, но улавливала всплеск паники, которую кто-то вызвал вдали и хотел сохранить в тайне.

Она не понимала истоков интуитивного ощущения, которое заставляло ее нестись в лес, находить там зайца и делиться с ним своей тревогой, но у нее была уверенность, что недавние небывалые события вызваны какой-то опасной переменой в раскладе мощных небесных сил.

Как раз в то время, той самой весной, чуть менее роскошной, чем прежние весны (дождь выпал не точно, когда его ждали, заморозки грянули чуть позже, чем нужно было для абрикосовых садов), — Мария увидела сон, от которого проснулась со смешанным ощущением легкости и испуга.

Итальянское стихотворение уже вызвало огромное волнение. Никто не мог его перевести, и господин кюре озадаченно всматривался в текст, потому что выученная некогда латынь, конечно, позволяла ему угадать какие-то слова,

но не идею в целом и тем более обстоятельства почтовой доставки.

Он подумал, не представить ли церковным властям совокупность фактов, не поддающихся разъяснению ни разумом, ни верой, но в конечном счете решил не писать им и придержать у себя список загадок последнего времени. Вместо чего он выписал из города отличный итальянский словарь, чья красная шелковистая, как лепесток, обложка оживила монашескую строгость истертого сукна на его столе. Красота, открытая им в созвучиях этого языка, доставляла кюре блаженство большее, чем все известные словесные наслаждения, в том числе и от латыни, которую он, однако же, нежно любил. Как бы он ни произносил слова этого языка, во рту возникал вкус чистой воды и влажных фиалок, а перед глазами вставала веселая рябь на поверхности зеленого озера. И много позже перевода стихотворения и размышлений о его прибытии на ферму он все продолжал читать словарь и за несколько месяцев приобрел основу, которая позволяла ему понимать цитаты, иногда сопровождавшие определения, — тем более что в конце книги были таблицы спряжения глаголов, доставившие ему немало трудов, но не охладившие рвения.

Словом, за шесть месяцев наш кюре заговорил по-итальянски — нетвердо, с оборотами, возможно, непривычными в Риме и с произношением, которое не могли полностью удостоверить фонетические указания из книги, но зато с той прочностью знания, которую приобретаешь, выучивая то, что, вообще-то, не пригодится. Он поделился результатом своего перевода, но никто так и не продвинулся дальше хмыканья и качания головой. Все полагали, что письмо это неспроста и действительно предназначалось для Марии, и спрашивали себя, при чем тут заяц и вепрь, а что до прогулок под деревьями, то уж ей-богу… и тут раздавался вздох. Но бессилие — не безмятежность, и мысль продолжала в тишине свербеть в их сердцах, которые беспокоились о том, каким будет следующее потрясение и не угрожает ли что малышке. И потому Мария, знавшая все это, ни словом не обмолвилась о своем сне. Высокий белый конь приближался к ней сквозь туман, потом проходил мимо, а она шла под сводами незнакомых деревьев по выложенной плоскими камнями дороге. И тогда начинала звучать музыка. Она не могла сказать ни сколько там было певцов, ни кто они были — мужчины, женщины или даже дети, но отчетливо

различала слова и с пылом повторила их в предрассветной темноте. Слеза скатилась по ее щеке.

возрождение туманов
лишенные корней
последнее единение

В конце, когда хористы смолкли, она услышала голос, повторявший *последнее единение.* Потом она проснулась с чувством восхищения от музыки и грусти от этого голоса, не молодого и не старого, несшего в себе все радости и все горести.

Мария не знала, зачем она прежде так хотела знать имя серебряного коня, но в течение нескольких минут ей казалось, что важнее этого нет ничего на свете. Точно так же нынче утром не было ничего более необходимого, чем вновь услышать этот голос чистого серебра. Необходимость покинуть однажды селение огорчала ее тем больше, что она предчувствовала: это случится задолго до срока, когда дети обычно покидают дом, где их любят и берегут. Но воздействие этого голоса на ее желания было таково, что она понимала, что уйдет без колебаний, несмотря на душераздирающую тоску и слезы.

Она ждала.

Леонора
Столько света

После того как Клара обнаружила на полях музыкальной пьесы стихи и ей открылось темное предательство, угрожающее незнакомке по имени Мария, она несколько дней не видела Маэстро. Пьетро, видимо, уехал вместе с ним, потому что снова он появился на вилле только в тот вечер, когда ей сообщили, что назавтра возобновятся утренние уроки. Клара удивилась радости, которую вызвала у нее новая встреча с Маэстро, хотя они остались верны молчаливому уговору первого дня, когда обменялись лишь несколькими словами. В голосе и жестах этого высокого, чуть сутулого человека было что-то знакомое, словно возвращавшее ее к родному очагу, и она удивилась, что за столь короткий срок, отмеченный редчайшими проявлениями тепла, эти двое, единственные, с кем она виделась в Риме, стали ей дороже всех, с кем она жила прежде. Тут не было золотистого сияния, окутывавшего людей, сидящих за крестьянским столом, но дикие кони и камни подлеска рождали чувство, не нуж-

давшееся в бурных проявлениях, чьи отклики доходили до Пьетро Вольпе. Итак, на следующее утро она явилась в кабинет, и урок начался точно так же, как всегда. Но в час, когда она обычно уходила, Маэстро приказал подать чай.

— Ты видела другие сны? — спросил он у нее.

Она отрицательно помотала головой.

— Настоящие видения не приходят случайно, — сказал он. — Тот, кто хочет видеть, умеет управлять ими.

— Ты можешь видеть Марию?

— Мне известно, где она и что делает. Но я не вижу ее так, как ты видела ее в своем сне и как могла бы увидеть, просто приняв решение.

— Откуда ты знаешь, что я смогла бы?

На лице Маэстро мелькнуло такое выражение, будто все его тело, всеми клетками плоти и крови кричало о любви.

— Знаю, потому что знаком с твоим отцом, — сказал он. — Он наделен огромным провидческим даром, и я думаю, ты тоже.

Как в вечер, когда случилось стихотворение, какой-то пузырь безмолвия лопнул у нее в груди и причинил боль.

— Ты знаешь моего отца? — спросила она.

— Да, и с давних пор, — сказал Маэстро. —

Это он написал для тебя стихотворение в нотах. И оно привело тебя к Марии, когда ты его прочла.

Повисла долгая пауза, за время которой пузырь безмолвия надулся и лопнул еще раз десять.

— Наши отцы — вепрь и заяц? — спросила она.

— Да.

У нее перехватило дыхание.

— Но я не знаю, что делать, — сказала она наконец.

— Ты видишь, когда играешь.

— Я вижу пейзажи.

— Музыка связывает тебя с местами и с живыми существами. Эти пейзажи существуют, и Мария — реальный человек. Она живет далеко, во Франции, в таком месте, где, как мы надеялись, она долго будет под защитой. Но теперь мешкать нельзя, и ты должна поверить в силы близких людей и в силу своего искусства.

Затем он встал, и она поняла, что утренняя встреча в репетиционном зале закончена. Но в дверях он добавил:

— Сегодня я познакомлю тебя с одной дамой, ее зовут Леонора. Вчера она напомнила нам, что в ноябре тебе исполнилось одиннадцать лет, и попросила пригласить тебя на ужин.

Вечером они отправились в путь к склону другого холма. Сам Маэстро встретил их на крыльце красивого особняка в конце аллеи высоких деревьев, каких она еще не видела в Риме. Сад был неразличим в темноте позднего вечера, но она слышала, как течет ручей, и камни его выстукивали мелодичный мотив, вызвавший в ее памяти образы дрожащих светлячков и туманных гор. Клара взглянула на Маэстро, и ей показалось, что перед ней совсем другой человек, не преподаватель музыки, не тот, чье лицо вспыхивало страстью под воздействием призраков, но душа, пронизанная порывами, которые, как стрелы, устремлялись к единой цели. И тогда она увидела ее, темноволосую и очень высокую, скрытую тенью Маэстро; увидела ее коротко подстриженные волосы и бездонные глаза; одеяние строгое, почти монашеское, никаких румян и на безымянном пальце — невероятно изящное серебряное кольцо. К этой роскошной простоте возраст добавил морщины, подчеркивавшие чистые линии ее одежды. Контур плеча, одетого шелком без складок и рисунка, бледность ткани, четкий круглый ворот, чуть мерцающая светлая кожа, темный бриллиант серег ненавязчиво складывались в морские пейзажи, где перекликались протя-

женность песчаного берега и протяженность неба в изысканной гамме приглушенных тонов, которой достигают только лучшие из гравюр.

Надо сказать, кем была Леонора, помимо того что доводилась Пьетро сестрой, а Маэстро — женой. Семейство Вольпе принадлежало к старинной династии процветающих торговцев искусством. До того как у них поселилась Клара, Пьетро давал большие приемы, от которых потом отказался, чтобы жить укромно. Кроме того, Аччиавати принимали художников своего времени, которые с первого же визита настолько осваивались на вилле, что ежедневно приходили обедать или беседовать после ужина. И потому Леонора Аччиавати, урожденная Вольпе, никогда не жила одна. Постоянный поток гостей родительского дома переместился туда, где она жила с Маэстро. В новом доме она сохранила ту особую манеру принимать, какая у нее была прежде: гости не ходили за ней следом по галереям, а за счет геометрии, не знавшей прямых линий, приспосабливались к изогнутой траектории ее перемещений. И точно так же не усаживались *против нее*, а располагались где-то поблизости в соответствии с геодезическими координатами, которые словно накладывали на интимное

пространство дома контуры невидимой сферы. И потому за ужином все следили глазами за сетью кривых, изгиб которых повторяли ее движения. Гости расходились по домам, унося с собой толику очарования этой женщины, не красавицы, но совершенства. Что было удивительно в храме искусства, ибо она не музицировала, не писала красками, не сочиняла, а дни напролет беседовала с умами более блестящими, чем ее собственный. И притом что она не путешествовала и вообще не любила перемен и притом что многие женщины той же судьбы остались бы просто светскими модницами, Леонора Аччиавати сама по себе представляла целую вселенную. Из наследницы, обреченной на скучное существование людей своей касты, судьба сотворила душу мечтательную, наделенную даром мистического видения, так что, оказавшись рядом с ней, люди ощущали, как в них открывается окно в безбрежность, и понимали, что вырваться из тюрем можно, только углубившись в себя.

Есть в каждом существе, даже полностью обойденном лаской, врожденное чувство любви, и даже если человек никого не любил, он знает это чувство глубинной памятью, проходящей сквозь тела и века. Леонора не шла, а скользи-

ла, оставляя за собой след, как речное судно, и от каждого ее скольжения сгущался и таял воздух, такой же шелковый и мягкий, как береговой песок, и сердце Клары обретало все большую уверенность в том, что всегда знало любовь. Девочка проследовала за Леонорой в гостиную и ответила на заданные ею вопросы о фортепиано и об уроках. Затем подали изысканный ужин и весело отпраздновали ее одиннадцатилетие. Наконец все простились на крыльце, в странно звучащем журчании воды, и холодной ночью Клара вернулась в пустую комнату возле патио. Но теперь девочка ощущала свое одиночество меньше, чем когда-либо в Риме, ибо она различила в Леоноре знакомое биение абруццских гор, то самое, что постоянно возникало в ее краях, скалистых и неровных. Долгое время она не слышала этого биения в других местах. Но после того, как впервые прикоснулась к клавишам, она ловила то же биение, идя по дорогам и играя прекрасную музыку, не только пришедшую из тех мест, которые она знала глазами или через фортепиано, но также рожденную ее разумом и телом, озаренными игрой. Но та же слитная частота волн земли и искусства обнаруживалась в глазах и в жестах Леоноры, Рим видел в ней представительницу

элиты, с которой естественным образом породнился Маэстро, и только Клара понимала, что именно он сумел в ней распознать.

Но за всю зиму они больше не виделись. Клара упорно работала под руководством Маэстро, который все так же требовал, чтобы она развивала свой дар. Но видения больше не приходили, ни во снах, ни наяву. Он не выказывал нетерпения и только следил за тем, чтобы она играла произведения, которые казались ей такими же мертвыми, как городские камни. Он никогда не отвечал ей, почему выбирает эти скучные пьесы, но она научилась угадывать ответ по тому, о чем он спрашивал сразу после. Так, однажды утром на вопрос об одном отрывке, вызвавшем у нее необоримую зевоту, он сдвинул брови и спросил, что, по ее мнению, делает дерево в лучах солнца прекрасным. Она изменила темп, и пьеса обрела изящество, которого прежде не было в помине. В другой раз, когда она клевала носом над музыкой настолько бессмысленно-скучной, что ей было даже не заплакать, он вдруг спросил про вкус слез под дождем, и тогда, заставив свои пальцы порхать, она ощутила нежную грусть, скрытую под благопристойным трауром. Но самый важный разговор случился у них ап-

рельским утром, когда, устав долбить абсолютно пустую пьесу, она просто прекратила играть.

— Ничего не вижу, — сказала она, — только все ходят и болтают какие-то люди.

К ее великому удивлению, он жестом попросил ее встать и присоединиться к нему за столом, накрытым к чаю.

— Ты очень одарена, но знаешь из всего мира только горы и коз да то, что рассказал тебе о мире кюре, знающий еще меньше, чем козы, — сказал он. — Но ведь старая нянька и пастух рассказывали тебе истории.

— Я слушала только их голоса, — сказала она.

— Забудь голоса и вспомни рассказы.

Она, не понимая, смотрела на него, и он добавил:

— Там, откуда я родом, тоже никому не нужны истории, там главное — песнь земли и неба. — Потом, после небольшой паузы, предложил: — В твоей комнате висит картина, правда? Она была написана очень давно человеком, приехавшим с моей родины и так же, как я, интересовавшимся рассказами. Сегодня вечером посмотри на нее еще раз, и, может быть, ты увидишь то, что заслоняют в твоем сердце земля и пейзажи, несмотря на были старой няньки и вирши пасту-

ха. Без земли душа пуста, но без рассказов земля нема. Играя, ты должна рассказывать.

Он велел ей вернуться за фортепиано, и она сыграла суетливую пьесу по-новому. Клара не поняла, что хотел сказать Маэстро, но за пустой болтовней и шумом шагов расслышала другой, более глубокий голос.

Она подняла на него глаза.

— Помни рассказы, — сказал он, вставая. — Они — мудрость мира, этого и всех других.

В тот же вечер он пришел к Пьетро, чтобы заниматься с ней музыкой.

Стоял конец апреля, было не по сезону тепло, и в патио буйно росли розы и уже расцвела сирень, и дождь, выпавший перед ужином, еще усилил ее аромат. Когда Клара пришла в кабинет, она с удивлением обнаружила там Леонору.

— Я только на минуту и уже ухожу, — сказала та, — но мне хотелось поцеловать тебя перед уроком.

И действительно, она была одета как на выход — в облегающее платье из черного крепа, которое освещали две хрустальные слезы, отчего глаза и волосы казались еще темнее. Невозможно было представить себе что-то более изысканное, чем это текучее платье и свисающие серьги

из жемчуга чистой воды[6]. А поскольку к этому наряду Леонора добавляла арабески своих движений, присутствующие перестали понимать, видят ли они речной водоворот или закручивающееся вихрем пламя.

— Я знаю, тебе мало что говорят и заставляют работать в одиночестве, — сказала Леонора. Она обернулась к Густаво и Пьетро. — Но я доверяю этим людям. Поэтому пришла поделиться с тобой незнанием и слепой верой и спросить, не согласишься ли ты сыграть для меня. — И, подобно редким и легким духам, распространяя в вечернем воздухе колебание своей волны, добавила: — Мне хотелось бы услышать ту музыку, которую ты играла в первый раз в церкви, ту, что дал тебе Алессандро, кажется, это была пьеса в синей обложке.

Клара улыбнулась ей. Надо ли говорить, что за одиннадцать лет существования без потрясений и горя она улыбалась не больше четырех раз? Хотя она с давних пор постигла законы

---

[6] Сноски: 6

От жемчуга чистой (или первой) воды требуется прежде всего игра: он должен быть бесцветным или чисто-белым, иметь сильный блеск со слабым голубым отливом, переходящим в радужный. Безупречная жемчужина чистой воды имеет нежный молочно-белый, светло-серебристый блеск, отливающий при ее вращении всеми цветами радуги. Это самый дорогой жемчуг.

сочетания природных элементов, но никогда не проникала в область человеческих симпатий. Леонора увидела эту улыбку и прижала ладонь к груди. Клара уселась за инструмент, мужчины заняли места. Она не играла синюю пьесу со дня великого единения. Она вспомнила, что Маэстро говорил ей про рассказы, и тогда на фоне молчащих озер, о которых пела мелодия, возникла странная нить, по которой она пошла как по тропинке. В воздухе что-то закрутилось, а потом развернулось у нее внутри. Оно было отчетливее аромата, но слабее, чем воспоминание, звучание земли и звук сердца выливались в историю о незнакомце, встреченном в ночи, и эту историю теперь хотели рассказать ее пальцы. И тогда она сыграла пьесу как в первый день, с той же скоростью и с той же торжественностью, но руки ее теперь несли груз новой магии, открывавшей территорию сна и часы бодрствования. Керосиновая лампа освещала стол, за которым ужинала семья.

Это видение преломлялось сквозь какие кристаллы? Клара знала, что оно не греза, но сиюминутное восприятие расположенного далеко на севере мира Марии. Продолжая играть, она подключилась к огромному калейдоскопу,

где сердце ее распознавало знакомые радужные свечения и взгляд пикировал вниз, как орел, с каждым взмахом ресниц укрупняя детали происходящего. Она могла рассмотреть лица мужчин и женщин, которые едва мелькнули в конце первого сна. За ужином они говорили мало и были скупы на жесты, образующие тот же хоровод обычной жизни, ту же мирную вечерю, где в молчании преломляют хлеб, где следят за тем, чтобы малышке досталась положенная порция, где в ответ на меткое слово отца улыбаются и снова утыкаются носом в тарелки. Когда она добралась до последнего такта, там громко рассмеялись, а мать встала и пошла в темноте горницы за миской с яблочным пюре. Потом Клара перестала играть и видение исчезло.

Она подняла глаза. Леонора положила руку на темное дерево, и ее щеки были залиты слезами. Лицо Пьетро тоже на миг исказилось рыданием, а Петрус как будто и растрогался, и проснулся. Но Маэстро не плакал. Леонора подошла к ней и, наклонясь, осторожно поцеловала в лоб.

— Я ухожу, — сказала она, вытирая слезы, — но благодарю тебя за то, что ты подарила нам сегодня. — И, обращаясь к Маэстро, добавила: —

Теперь еще будет много таких часов.

Позже, у себя в комнате, Клара долго не ложилась. Она чувствовала, что в тот момент, когда она играла для Леоноры, в ней открылся какой-то просвет, и хотела снова оказаться на ферме Марии. Она долго сидела в тишине, отпустив мысли свободно витать вместе с давними рассказами старой служанки, и постепенно волна воспоминаний смыла слой большой истории, оставив маленькие истории людей Сассо. Она не прослеживала их от начала до конца, и не реконструировала действительный ход вещей, просто она видела их плотность и осязаемость, которую могла выразить в музыке — но музыке необычной, где к звучанию мелодий и смене тональности добавлялся еще один уровень, иногда возникавший из диалогов с Маэстро, и который она ощутила в первый вечер, стоя перед картиной в своей комнате, где к пьянящей красоте красок добавлялись сюжеты изображаемого. Она снова увидела, как старая служанка штопает и рассказывает ей про детей, отставших в горах, или про пастухов, забредших в овраги, и сама заскользила мыслями вдаль без направления и логики, унесясь мелодией за пределы окружающих предметов и времен. И тогда рассказы и почва встретились

и озарились единой вспышкой, и тот же путь, намеченный ранее партитурой, раскрылся разуму так ясно, что она без всяких усилий видела в нем свет. О, сколько света. Маленький мир фермы тоже погружен во тьму, в тихой горнице догорают последние угли. Чувствуется сила камней, они окружают людей и защищают их, и сила леса, который тянет к ним корни, невидимые под спудом стен. Несмотря на мрак, вибрации камней и органики образуют светоносную сеть, и Клара с изумлением видит контуры предметов, ибо посреди горницы, окруженная странным свечением, застыла Мария, она смотрит на стол, на котором остался глиняный горшок, стакан воды, налитый до половины, и забытые с ужина дольки чеснока. И тогда французская девочка бесконечно замедленным и молниеносным движением руки передвигает стакан и добавляет росток плюща, и тут же разворачивается целая вселенная. И Клара ощущает мощный треск, сдвигаются материковые льды — потом устанавливается равновесие, все замирает, смолкает и отдается безмятежному покою. Так было в ночь начала всех начал. Сквозь спящий дом Клара проводила Марию до кровати, где девочка укрылась красным пуховым одеялом. Но прежде,

чем заснуть, Мария широко распахнула глаза, и взгляд ее упал Кларе прямо в сердце. Что это было — волшебное соединение музыки и рассказов? Она была потрясена, словно впервые ощутила теснейшую внутреннюю связь с человеком, который ничего не ждал от нее взамен, и в тишине своей комнаты в патио Клара улыбнулась — второй раз за день. Наконец, перед самым сном ей во второй раз предстало видение фермы с ее столом: точные силовые линии, соединявшие стакан, глиняный горшок и три дольки чеснока, с тянувшимся к ним вьюном являли мир в его роскоши и наготе.

— Я видела ее, когда играла, — сказала она Маэстро на следующее утро, — и опять увидела ее ночью.

— Но она тебя не видит.

Он выслушал, как Клара описывает ужин, окружавших Марию мужчин и женщин, их заразительный смех и камни, которые охраняют, но остаются живыми. Потом они с Маэстро приступили к занятиям, начав с отрывка, который показался ей плоским и скучным, как степь.

— Думай только об истории и забудь про степи, — сказал Маэстро. — Ты не слушаешь, что рассказывает музыка. Люди странствуют не только

в пространстве и времени, но главное — в своем сердце.

Она стала играть бережно и медленно, чувствуя, что в ней открывается новый путь, уходящий за горизонт равнинного пейзажа сетью магнитных точек, вокруг которых вихрем закручивалась история, и только музыка могла распутать эти вихри. И тогда она снова нашла Марию. Та бежала под облаками такими черными, что даже дождь был цвета темного серебра. Она увидела, как девочка стрелой пронеслась по двору фермы, рывком открыла дверь и на секунду замерла перед ошеломленной компанией из почтальона и четырех старушек. Клара увидела, как небесная вода внезапно обратилась вспять и испарилась на фоне обретенной тишины и ясной погоды, и Мария прочитала строки, расположенные на тонкой бумаге так же, как строки в нотах сонаты.

la lepre e il cinghiale vegliano su di voi quando

camminate sotto gli alberi

i vostri padri attraversano il ponte per abbracciarvi

quando dormite

Клара почувствовала, как взволновали Марию стихи, потом подняла глаза на Маэстро и стала удерживать одновременно оба свои восприятия, обнимая единым взором близкое и далекое, чужую ферму и городской кабинет, как пылинки в луче света.

— Это дар твоего отца, — сказал Маэстро после молчания.

Она почувствовала внутри себя присутствие чего-то необычного, словно касание — легкое, но настойчивое.

— Ты видишь то, что я вижу? — спросила она.

— Да, — сказал он, — я вижу Марию, как видишь ее ты. Видящий — или видящая способны сделать далекое видимым для других.

— Это ты послал стихотворение?

— Оно установило между вами связь, — сказал он. — Но стихотворение — ничто без дара, которым обладает твоя музыка, — связывать идущие навстречу души. Мы пошли на риск, который мог показаться безумным, но каждое новое событие словно подтверждает нашу правоту.

— Ведь я вижу Марию, — сказала она.

— Ты видишь Марию вне Храма, — сказал он.

— Вне Храма?

— Того Храма, где ее можем видеть мы.

Потом она задала последний вопрос, и какая-то странная волна прошла у нее в груди и растаяла, как сон.

— Я когда-нибудь увижу отца?

— Да, — ответил он, — я надеюсь на это и верю.

Так началась новая эра. По утрам она работала в репетиционном зале, потом возвращалась на виллу для обеда, за которым всегда следовала сиеста, после встречалась с Леонорой, которая заходила выпить чаю и послушать ее игру. Этой дружбе с итальянкой сопутствовало еще одно дружеское чувство. Она испытывала его к маленькой француженке и ее неописуемым бабулькам, потому что видение Марии теперь не покидало ее и сопровождало по жизни естественно, как дыхание. И часы, проведенные с женой Маэстро, сплетались с часами, текущими на далекой ферме, в единое созвучие, делая бургундских старушек такими же привычными, как римский высший свет. Дни напролет она ходила с ними из кухни в сад, из курятника в погреб, они готовили соленья и шили, стряпали и мотыжили, и, вглядываясь в их старческие лица, изборожденные годами и трудом, она выучила их имена, вполголоса повторяя непривычные сочетания звуков. Из всех старушек она

больше всего любила Евгению, может быть, за то, что та говорила с кроликами во время кормежки точно так же, как с Богом во время молитвы; но она любила и отца Марии с его молчаливой застенчивостью и понимала, что доверительные отношения, которые связывают его с Евгенией и с девочкой, уходят глубоко в почву, как подземные корни близости, тянущиеся под полями и лесами и прорастающие на свет божий, касаясь их стоп. Иное дело Роза, мать девочки, говорившая на странном языке небес и облаков и стоящая немного особняком в мирке фермы. Но прежде всего от зари и до заката и в одиночестве ночи она следила за Марией; той Марией, что широко распахнула глаза в ночи и посмотрела на нее, не видя; и той Марией, что проходила по полям, зажигая их несказанным мерцанием, и это трогало ее за сердце.

Потом настал новый год и очень холодный январь, охвативший Клару болезненным предчувствием.

Она поделилась им с Маэстро, когда они разучивали пьесу немочно-бледным утром, замечательно подходившим к мертвым камням города, — как мрачно думала она.

— Наша защита еще работает, — сказал Ма-

эстро.

Он снова заглянул в видение Клары и вздохнул, проведя ладонью по лбу, и вдруг показался очень усталым.

— Но враг, возможно, сильнее, чем мы думаем.

— Очень холодно, — сказала Клара.

— Таково его намерение.

— Намерение Губернатора?

— Губернатор — всего лишь слуга.

Потом, после молчания:

— Через десять дней мы празднуем день рождения Леоноры, и на ужин придет несколько друзей. Я хотел бы, чтобы ты сама выбрала пьесу и сыграла нам в этот вечер.

До вечера праздника Клара не видалась с Леонорой, но думала о ней в каждую секунду этих дней, посвященных и пьесе, которую она задумала сыграть, и Марии, как в лихорадке метавшейся по своим поблекшим землям. Она работала в патио, не уходя в репетиционный кабинет, в одиночестве, ставшем еще больше оттого, что Пьетро тоже исчез и не появился даже в день, когда ее повезли на другой холм. А еще с самого утра ее мучило все то же болезненное предчувствие, настолько сильное, что ей казалось — нечем дышать, как в день приезда в город.

Петрус все это время, верный своим привычкам, храпел в глубоком кресле, невзирая на ее мучения. Но когда она со смешанным чувством, в котором доминировала тревога, собиралась отправиться на виллу Аччиавати, он явился в черном костюме, разительно отличавшемся от обычного небрежного одеяния. Он заметил ее удивленный взгляд.

— Это ненадолго, — сказал он ей.

И поскольку она продолжала ошеломленно смотреть на него:

— Странная все-таки это штука, — сказал он, — одежда. Не уверен, что смогу привыкнуть.

Было еще холоднее, чем в предыдущие дни, и падал мелкий назойливый дождь, пронизывавший до костей. Аллея извивалась в ночи, и Клара слышала песнь воды, из-за зимы звучавшую на тон выше. Неизвестно отчего, но у нее в груди стеснило еще больше, но времени обдумать это не хватило, потому что они вышли к крыльцу, где их ждал мужчина с орлиным профилем и странно-знакомым лицом. Он был одет чрезвычайно элегантно, из кармашка парадного фрака виднелся шелковый платок, но это небрежно смягчалось аристократизмом жестов и, несмотря на вычурность, казалось второй ко-

жей. Видно было, что человек этот с рождения наделен той притягательностью, что способна дать величайшее наслаждение или испепелить дотла, и Клара поняла, что он красив, потому что дышит, как дышит дерево, с той широтой, что делает его и легче, и прямее. Этим солнечным дыханием он вливался в мир так гибко и текуче, как редко удается людям, и входил в гармонию с воздухом и почвой, делавшую его великолепным артистом. Потом случился провал — в глазах людей, не способных оценить великий дар, но в тот вечер Алессандро Ченти — ибо это был он — вновь стал тем, кем был когда-то.

— Ну что ж, малышка, — шепнул он ей, — теперь мы все в сборе.

И он увлек ее за собой, начав что-то рассказывать, но она была убаюкана легкостью его голоса и не слушала слов. Сзади ей что-то загадочно бормотал Петрус, но она не поняла, что именно, потому что они вошли в большую залу, освещенную свечами, где ее дуэнья молнией ринулась к подносу с янтарными кубками. Густаво и Леонора беседовали с дюжиной гостей, гости поцеловали Клару, которую им представили как племянницу Сандро и блестящую юную пианистку. Ей понравились собравшиеся. То были

близкие друзья, которые как будто все издавна знали Алессандро и радовались, что он снова с ними, и по обрывкам беседы, которые она ловила там и сям, она понимала, что большинство из них — художники. Она с удивлением узнала, что Алессандро — живописец, и несколько раз услышала, что ему советовали снова начать писать и не бояться ночи. Им наливали золотистое вино, все смеялись и рассуждали, мешая серьезные истории и фантазии, и она чувствовала, что постепенно уплывает в какое-то блаженное ощущение, которое ей вряд ли доводилось испытывать прежде… как велики сообщества, сотканные не только теплом первобытного племенного инстинкта, но и единой склонностью… мужчины и женщины, связанные общим сознанием хрупкой наготы и тайного сговора стремлений, уравнивающего всех в упоении искусством… одна и та же провидческая греза, те же бездны и те же устремления однажды заставили каждого из них писать свою историю — слагать ее из вымыслов красок и нот.

Леонора подошла и заговорила с ней, и гости окружили их, чтобы послушать, как Клара рассказывает о своем фортепиано и о часах работы с Маэстро. Но когда Густаво подошел и попросил

ее сыграть, ее сердце сильно забилось, она встала, и предчувствие, преследовавшее ее весь день, охватило ее в сто раз сильнее.

— Что ты сыграешь? — спросила одна гостья.

— Вещь, которую я сочинила, — ответила она и увидела, как удивился Маэстро.

— Это твое первое сочинение? — спросил один гость, который был еще дирижером оркестра.

Она кивнула.

— А у него есть название? — спросила Леонора.

— Да, — сказала она, — но я не знаю, надо ли его говорить.

Все засмеялись, и Густаво шутливо поднял бровь.

— Сегодня вечером простится все, — сказал он, — ты можешь произнести название, если потом сыграешь пьесу.

— Она называется *Себе на беду он был немец,* — ответила она.

Собравшиеся рассмеялись, и Клара поняла, что не одна она была адресатом остроты Маэстро. Еще она увидела, что он смеется от чистого сердца и одновременно угадала в нем то же волнение, с каким он сказал ей: *вот тут я тебя узнаю.*

Потом она заиграла и случилось три события. Первое, что случилось, — это изумление всех

присутствовавших на ужине, которые от игры Клары застыли как соляной столб, второе — вода, звеневшая о камни сада, зазвучала громче, и Клара поняла, что жила с этой музыкой с того момента, когда впервые услышала звон ручья, и третье — явился нежданный гость, чья фигура вдруг возникла в дверном проеме.

Рафаэле Сантанджело, прекрасный, как все ангелы Дуомо, улыбался и смотрел на Клару.

Храм Туманов
Малый эльфийский совет

— Она знает, что камни живые. Она не забывает об этом даже в городе. И она чудесно играет. Но по-прежнему слишком одинока.

— С ней рядом Леонора, и Петрус всегда начеку.

— Он слишком много пьет.

— Но он опаснее когорты воинов-трезвенников.

— Я знаю, мне доводилось видеть, как он пьет и сражается и как он переубеждает целые когорты враждебных нам советников. И силы Клары растут. Но сколько нам отпущено времени? Возможно, нам не удастся спасти даже наши собственные камни.

Евгения
В годину войн

После апреля и инцидента с итальянским письмом на ферме протекло несколько месяцев, безвкусных, как пресное тесто. Ушло одно время года, его сменило другое. Марии исполнилось двенадцать лет, а снегопада не случилось. Лето было неожиданным. Никогда еще не видели люди погоды изменчивей и сумбурней, словно небо никак не могло решить, что затеять. Грозы Иванова дня разразились до срока. Жаркие вечера сменяли по-осеннему хмурые дни, когда казалось, что лето закончилось. Потом оно все же установилось, и целыми ордами вернулись стрекозы.

А Мария продолжала беседовать с лесными зверями. Слухи о блуждающих тенях все сильнее волновали заячье племя, которое, видимо, оказалось чувствительнее остальных зверей. Но и олени сетовали, что местность скудеет, что-то словно разлаживалось, но непонятно как. И, хотя в деревне перемен не замечали, там шла привычная жизнь, но Мария с удивлением видела, что природа чахнет, а дар бабулек растет.

Это наглядно проявилось в конце января — в именины Леоноры. Жанетта целый день была прикована к печи, кухня превратилась в кабинет алхимика, ибо к вечеру они ждали в гости брата отца с невесткой, ехавших с самого юга. Ужин состоял из цесарки с трюфелями, печеночного паштета и густого говяжьего супа с зеленью и чесноком (приправленного золотистыми, хрустящими жареными артишоками, от одного взгляда на которые рождался такой аппетит, что не залить никаким вином). То был ослепительный триумф. Когда трапеза наконец завершилась кремовым тортом и знаменитым айвовым мармеладом от Евгении, горница превратилась в скопище животов — довольных, отупевших и раздутых до несварения. Но к двум часам ночи в спальне Анжелы, которую та уступила Марселю и Леонтии, случился страшный переполох, разбудивший всю ферму. В темноте едва нащупав свечки, домочадцы зажгли их и явились в спальню, где бедный Марсель так корчился от печеночной колики и сильного жара, что казалось, часы его сочтены. Евгения, которой всю ночь снились глубокие пещеры, где сверху падала липкая желтая масса каких-то отложений, с радостью очнулась от кошмара

и тут же оказалась в другом. Она засеменила вслед за всеми, поправляя сползший на ухо ночной чепец, но вид больного на одре страданий разом пробудил ее и прочно поставил на ноги, одетые в шерстяные носки.

Она уже и прежде лечила все межгорье от разнообразнейших хворей, с которыми к ней обращались, и тут же расписывала солидный перечень сиропов, растворов, настоек, отваров, полосканий, мазей, притирок, примочек, бальзамов и горчичников собственного изготовления, оделяя даже тех больных, чьи шансы на выздоровление были совсем малы и на чьих похоронах она затем с грустью присутствовала. Но как ни странно, здесь она впервые оказалась возле больного в роковой час. Кризис наступал со всех сторон, и надо было принимать бой. Впрочем, она и не собиралась бежать. Напротив, у нее возникло чувство, что жизнь всеми дорогами вела ее именно в эту маленькую комнату скорби.

В отличие от Анжелы, которая была женщиной с напряженной внутренней жизнью, чей душевный жар с годами постепенно остывал, Евгения воспринимала мир как набор обязанностей и дней, которые достаточно оправдывал сам факт их существования. С утра она вставала, молилась,

кормила кроликов, потом готовила свои снадобья, снова молилась, шила, штопала, драила, ходила собирать лекарственные травы или мотыжить огород, и если успевала все переделать споро и четко, то укладывалась спать довольная и без единой мысли. Евгения принимала мир в его данности, но отнюдь не со смирением. Суровая жизнь, выпавшая ей, радовала Евгению оттого, что она жила в атмосфере постоянного поклонения. Это началось в пятилетнем возрасте при виде листика мяты из материнского сада. Она вдруг ощутила, что по жилам растения течет зеленый пахучий сок, не только замечательно отвечающий осязанию пальцев и обонянию, но умеющий без слов рассказать историю, которой она отдалась, как речному течению. И тогда ей открылось невероятное прозрение, внятно продиктовавшее ряд поступков. Она с бьющимся сердцем стала совершать эти поступки, взрослые что-то кричали и пытались ей помешать, пока не обнаружили, что, когда ее в щеку укусила оса, растерев лицо влажным и пряным листом мяты, она сняла боль. Евгения не сознавала, да и вообще понятия не имела о том, что другим людям не дано слышать этот постоянный напев, сладостный хорал природы. Потом, когда ее от-

вели в церковь, он исполнился смыслом, и дух псалмов обрел образ и слова. Она просто вписала текст под строчками знакомой мелодии и хроники мяты обрели дух и канон.

То было своеобразное восприятие песен природы, очень близкое тому, что слышала Мария. Потому-то композиция с дольками чеснока, преобразившими горницу фермы, так потрясла Евгению, что она была посвящена в тайный орден невидимых истин, делавших ее столь счастливой, хотя родилась она столь бедной.

Главная драма ее жизни была связана с сыном, который погиб на войне. Его имя было выбито на деревенском монументе. Во времена сражений, которые разрывали кровавыми ранами небо Франции, ее убивало то, что фиалки продолжали все так же прелестно увядать. А когда она потеряла сына, красота лесов показалась ей подлостью, которой не нашлось объяснения в Писании. Невозможно было осознать, как роскошь мира уживается с таким огромным горем. Смерть мужа, хотя и сильно ее удручившая, не стала для нее такой трагедией. Он ушел, как уходит все живое, как вянут ирисы и слабеют большие олени. Но война поджигала очертания и испепеляла реальность до кости, повсюду на пути людей

вставали стены высотой с собор, утверждая смерть даже здесь, на просторах прекрасных равнин. И то, что это происходило в прозрачности весеннего цветения, было неправильно и убивало в ней то, что прежде рождало жизнь, — святое согласие почвы и всего живущего на ней. Еще до того, как сын погиб, она потеряла аппетит, но, услышав, что ее мальчик не вернется с далеких полей и что ей даже не отдадут его тело, потому что, когда гибнет столько людей, можно разве что составить списки пропавших, — Евгения вообще забыла, что значит что-то хотеть.

Но однажды утром, незадолго до конца войны, из соседней деревни привели мальчика, болевшего уже много месяцев и с утра до вечера кашлявшего до изнеможения. Кашель был столь мучительным, что она и сама ощутила боль, которая утихла, лишь когда она коснулась его груди, попробовала проследить пути, по которым распространялась болезнь, обнаружила безупречные легкие, и вдруг ее внезапно осенило, что он страдает той же хворью, что убивает и ее. Евгения посильнее надавила ладонью на его худенькую обнаженную грудь, в которой силы войны ворочались взрывами боли и ярости, погладила мальчика по щеке и наложила

согревающую мазь. А потом, улыбаясь, но с изумлением чувствуя, как внутри открываются шлюзы и прорывается наружу поток забивавших душу обломков, как прочищается и снова начинает работать связь с рассветной зарей. Несмотря на раны и ненависть, она сказала ему: «Все пройдет, мой ангел». Два дня спустя мать ребенка сообщила ей, что кашель пропал и что мальчик хоть и не говорит, но беспрестанно улыбается. Так Евгения смогла вернуться в привычное русло жизни, напоенной песнями лугов и дубрав. Но теперь к этому добавилось знание недуга, раны, которую отныне она будет ощущать как черную воронку, ежедневно поглощающую часть отпущенной человеку энергии. Странным образом это научило ее лучше распознавать глубинные причины болезней, но она чувствовала еще, что как будто лишилась какой-то части своего дара и возросшая точность диагноза оказалась обратно пропорциональна способности излечивать. Одно росло, другое ослабевало, и, даже не философствуя, она ощущала этот вечный ход, подрывавший ее способности целительницы.

Почему дороги судьбы вдруг встают перед глазами, как буквы, сами собой появившиеся на береговом песке? После войны жизнь возоб-

новилась, и все вернулись к полям, где во время кровопролитных битв работали только женщины и старики. Пришли новые жатвы, новые зимы и осенняя нега, и выжившие оплакали мертвых, хотя ужас бойни сделал их самих навек безутешными. Однако люди жили и улыбались летним стрекозам, а землю их тем временем давили серые камни, на которых раной и вечным проклятием зияли слова: «Помните! Помните! Помните о судьбе, что ломает человека, требует новой дани памяти, обращая в проклятие любовь, убитую свинцом!» Входя в комнатушку, где в агонии мучился Марсель, Евгения почувствовала, как Мария быстро коснулась ее плеча и сразу молча отступила в тень. И только тогда война для Евгении закончилась. Дороги судьбы…

Сто́ит на миллиметр сдвинуть зубчик чеснока, как мир совершенно меняется. Едва заметный сдвиг чуть искажает наши внутренние ощущения и при этом навсегда изменяет нашу жизнь. Глядя на мучения больного, Евгения чувствовала все это и дивилась тому, что прикосновение малышки помогло ей чуть-чуть продвинуться в пространстве — и оказаться так далеко от собственного страдания. Десятилетия борьбы легким прикосновением сметены с ее старческих плеч,

а перед ней — ничего враждебного, а просто умирающий человек из плоти и крови. Евгения приблизилась к кровати и положила ладонь на лоб крестника.

На самом деле Марсель, клявший себя за съеденную цесарку и за все, что он в жизни сделал плохого, в частности за украденную в детстве утку, теперь представлял собой один сплошной сгусток болезни.

Воспаление вспыхнуло в желудке, за два часа там скопился гной, и болезнь, получившая подкрепление, резко пошла в атаку. И тогда тело подверглось мучительной пытке, которую болезнь придерживала до того часа, когда станет непобедимой. А беспорядочные судороги от расползающейся кругами боли помогли инфекции распространиться по сосудам и тканям больного. Именно таков был принцип всякой войны, абсолютно ясный Евгении по причине, которую она осознала только после того, как Мария коснулась ее плеча, активировав знание, записанное в генетическом коде ее старого крестьянского тела. И это знание подсказало ей, что она столь отчетливо видит урон от войн оттого, что судьба повелела ей стать целительницей. Мир ширился и рос. То, что целиком заполняло

его в десятилетия зла, теперь стало лишь крошечной территорией в сутолоке мощных сил, которым, однако, не подвластны фиалки. Внезапно Евгения пожалела, что знание пришло к ней так не скоро, но она поняла и то, что нельзя командовать легионами добра. Надо еще научиться сочувствию и любви, ведь озарение душ требует работы горя и траура. Да, подмога близка, но для нас недосягаема, нужно время, нужны годы и, может быть, сострадание. И вот, в четвертом часу ночи, две женщины вместе проникли в ту область, что требует особого величия и тяжкого труда, а между тем в их руках была жизнь человека, и эта жизнь висела на волоске, который в самозабвении битвы воедино связал восьмидесятилетнюю старуху и двенадцатилетнюю девочку.

Евгения закрыла глаза и внутренним взором увидела всю последовательность действий исцеления, совсем как тогда, когда ей было пять лет и она лежала в пьянящем аромате мяты. Она открыла глаза, и ей не понадобилось даже говорить, потому что девочка сразу пошла на кухню и вернулась, держа в ладони пригоршню зубчиков чеснока и веточки тимьяна, чей пряный запах распространился по комнате. Евгения

взяла с прикроватного столика Анжелы глиняную плошку, раздавила в ней дольки чеснока, перемешала с тимьяном и поднесла снадобье к ноздрям умирающего. Тому как будто стало легче дышать, и он приоткрыл желтый глаз в прожилках темной крови. Она смазала липкой массой его губы. Он с отвращением поморщился, но тут же сдался, тогда она осторожно вложила в приоткрытый рот толику снадобья.

Знаете ли вы, что такое сон? Это не химера, не порождение наших желаний, но иной путь вбирания в себя субстанции мира и восхождения к той истине, что раскрывают нам туманы, пряча видимое и обнажая незримое.

Евгения знала, что ни чеснок, ни тимьян не победят инфекцию, распространившуюся по организму, но она выросла в мудрости, которая подсказывает покинувшим поле брани бойцам, что нашим возможностям нет предела и что силы природы всемогущи. Еще она знала, что ее дар целительницы призывает на помощь другой, гораздо более мощный и грозный, и что от Марии, стоящей в тени вместе с вершителями великих дел, зависит возможность чудесного исцеления. Евгения обернулась и позвала девочку.

Та шагнула вперед и снова коснулась ее плеча. Евгения пошатнулась, как от внезапного удара. В ней словно пришли в движение все силы и все рычаги, вскипели все волны и все бури. Вздрогнув от неожиданности, она отдалась течению энергетических потоков, по воле малышки завихрившихся вокруг нее, потом почувствовав упоение целительницы, поплыла самостоятельно, отыскивая волну своего сна. Она нашла его через образ, который выделялся на фоне неясных шорохов, и тогда ритмы и ощущения замедлились, чтобы позволить ей медленно приблизиться к красному мосту, связавшему два берега, тонущие в тумане. Как прекрасен был этот мост…

Слои глубокого бархатистого кармина не могли скрыть благородства его древесины, и вскоре возникла вереница мыслей, причудливых и смутных, и все эти мысли устремились к покою и миру, которые красный мост между двумя берегами обещал каждому смотревшему на него. Да, это был мир, где она бывала испокон веку, соединявший деревья и людей, где растения умели говорить человеческим языком и мост излучал силу согласия, указывавшую ей пути природы с такой мощью и гармонией, которые прежде

ей не доводилось встречать. Потом образ исчез. Все длилось не дольше вздоха, и так же недолго звучали несравненной красоты голоса.

Покой… К чему еще она стремилась все эти годы? Чего еще можно желать, когда теряешь сына, который погиб в честном бою, вывалив кишки наружу? Она, с проницательностью, которая еще утром была бы болезненной, а теперь представлялась лишь нежным напоминанием, снова увидела летний вечер в саду: они накрыли там стол для праздничного ужина на Иванов день и украсили его крупными ирисами, какие бывают только в середине лета. Евгения слышала гудение насекомых в горячем воздухе и тонкий аромат щуки с овощами. И тогда сын увиделся снова — таким, каким она не видела его сто лет; он сидел перед ней и грустно улыбался, потому что оба они знали, что он погиб на тех же полях, где полегло столько наших мужей и сыновей. И она наклонилась к нему, посмотрела ему в глаза и сказала нежно, голосом без примеси грусти и сожаления: «Ступай, сынок, и запомни навеки силу нашей любви». Евгения охотно умерла бы в тот же миг в глупейшем и полном блаженстве, как умирают полевые маки и летние стрекозы. Вот только крестника надо было вырвать из ког-

тей смерти, да и сама она была не из тех эфирных созданий, что теряют голову от сладких песен. Она поняла, что образ и пение явились ей, чтобы она исполнила задачу, ради которой той зимней ночью поправляла на голове ночной чепец, давила дольки чеснока, думая о сыне.

В этот самый миг девочка сняла руку с ее плеча, и Евгения все ощутила, осознала и приняла. Она погрузилась в тело больного и увидела, что заполняющая его инфекция — это клейкое желтое вещество из ее сна, и отдает оно той же вонью, что стояла в воздухе во все время войны. Эта гангрена стремилась к единственной цели: сломить, и разъединить, и поглотить мало-помалу все, что живет и любит. На миг Евгении показалось, что враг гораздо сильнее всего, что может противопоставить ему бедная деревенская знахарка, у которой в распоряжении столь скудные средства и крайне наивные познания. Но теперь она была сильна новым светом, который проник через ладонь Марии, когда та коснулась ее плеча. Войны… Мы знаем: они диктуют свой закон и требуют дани, принуждая и праведника вступить в бой. Но что будет, если поутру все опустятся на полевую траву, сложив оружие? Раздастся звон соседней колокольни,

люди очнутся от ужаса и ночи. И вдруг хлынет дождь, и останется только отдаться этой молитве, которая заливает жизнь фиалками и потоком звуков. Как глупо было надеяться отбить атаку, бросив в горнило трех солдат, бессильных против орд и пушек… Но разве лечить не значит, по сути, восстанавливать мир? И разве можно жить — не любя?

Великие решения приходят малым сим незримо. Армия тьмы выдвигала бастионы, вонзая крючья прямо в плоть больного и цепляясь за них паутиной инфекции. И потому Евгения не стала делить своих солдат на отряды, а собрала их воедино.

Своим провидческим даром она проследила путь чеснока и тимьяна в кишечнике и крови больного, своей грезой удесятерила их вязкость и смазала стенки органов и сосудов, так что теперь гораздо труднее было воткнуть туда острие. Ее видение обрело мощь, она смазала острия вонзившихся крючьев, и они затупились от зубчиков чеснока и стрелок тимьяна, а те своими целительными соками проникли в отверстия, проделанные врагом, и зарубцевали их. Она воспрянула духом. Как легко было врачевать, накладывая снадобье прямо на ткани больного,

и как удивительно видеть, что магия сна может способствовать исцелению, ускоряя процессы, носящие совершенно реальный, природный характер.

Но она чувствовала и то, что дар ее расходует свои последние запасы и скоро наступит момент, когда ей придется сложить оружие, ибо иссякнет энергия грез. И тогда она заметила ирис. Она не понимала, где он, цветок был перед ее глазами — и нигде, открыт взору — и невидим, светился плотным вещественным присутствием — и не был размещен в пространстве или доступен руке. Ирис был мельче садового, с белыми лепестками в бледно-голубую крапинку, с лиловой сердцевиной и оранжевыми тычинками, и от него шло ощущение свежести, сначала неузнаваемой, а потом вдруг вспомнившейся: то была свежесть детства. Так вот оно что… Теперь она знала, отчего ирис недоступен зрению, хотя видим, и знала, как довершить то, что должна исполнить. Евгения вздрогнула, прочтя послание цветка, сотканное из светлого аромата раннего часа жизни. Потом все ее простое и чистое существо смиренно приняло дар и вернулось в тело восьмидесятисемилетней старухи, про которое она забыла в ту секунду,

когда Мария коснулась ее плеча, и в которое теперь воплотилась вновь с неведомым доселе ощущением силы бытия.

Она осмотрелась: все краски засверкали ярче от мягкого блестящего лака. Комната была тиха. Вот Анжела преклонила колени на старой молитвенной скамеечке из каштана, которую всегда отказывалась менять на что-то поновее, вроде тех красивых бархатных скамеек, что стояли на первых рядах в церкви. Она так поглощена молитвой, что не замечает, что ночной халат заворотился и обнажил стеганые панталоны, подрубленные розовой ленточкой. Леонтия сидит на перине рядом со своим Марселем и с ангельским терпением растирает ему ноги, а Жанетта и Мария стоят в проеме двери, слишком большом для двух бабулек, от страха скукожившихся больше, чем от прожитых лет. Евгения пощупала крестнику пульс и приподняла веко. Он дышал слабо, но ровно, и кровавые прожилки, уродовавшие глаз, исчезли. Для очистки совести она дала больному последнюю порцию чеснока с тимьяном. Внезапно она почувствовала себя очень старой и очень усталой. Потом она обернулась и вдруг оказалась лицом к лицу с девочкой.

Черные глаза Марии были полны слез, и кулаки

сжимались от нарастающего горя. У Евгении сжалось в груди от сочувствия малютке, все чары которой не могли защитить ее сердце, сотворенное таким же, как у всех маленьких девочек, и долго саднящее от первой серьезной раны. Она улыбнулась ей с нежностью матери, готовой ради своего ребенка стократно умереть или убить, и протянула к ней руку, даря понимание и торжественное величие радужной, ирисовой красоты детства. Но слезы Марии продолжали течь, и в глазах стояла горечь и грусть. Потом она отступила и контакт прервался. Впрочем, и расстраиваться-то было некогда — в маленькой спальне спало напряжение, и каждый, включая пуховую перину и молитвенную скамеечку, сдавал боевой пост, чтобы, как положено, обняться с друзьями после одержанной победы. Старухи теребили спасительные четки и славили упорную веру Евгении в целительную силу тимьяна и чеснока — но что на самом деле творилось в их деревенских головах? Надо ли быть семи пядей во лбу, чтобы понять за две эти снежные ночи, что человековепри и вечно прекрасная погода не сами собой валятся с неба и что малышка принадлежит волшебному миру? По правде говоря, они просто пытались как-то примирить

увиденное воочию — с верой, убеждая себя, что Господь как-то связан с этими силами, просто люди не успели привести в соответствие видимое и исповедуемое. И главное — теперь, когда Марсель храпел, как новобранец, и все устремились на кухню, ведь они заслужили чашку кофе, — у них появилось еще одно срочное дело: убедиться, что Мария надежно защищена. Анжела ведь с самого начала догадалась, что девочка обладает огромным могуществом и потому будет беспрестанно притягивать к себе другие силы мира. Никто не заметил, что Евгения сидит, не притронувшись к кофе, и мечтательная улыбка витает на старческих тонких губах.

— Слишком долгая ночь, а может, слишком короткая, — сказал наконец Андре, отставляя чашку, и улыбнулся всем присутствующим, как умел улыбаться он один, запуская время мерной и покойной иноходью и возвращая день на праведный и привычный путь.

И все услышали звон с соседней колокольни, и к небу заструились дымки счастливых очагов, и на фермах снова потекла жизнь, напоенная боярышником и любовью.

Рафаэле
Такие слуги

О, как он прекрасен, русоволос и высок, его глаза прозрачней ледниковой воды, у него тонкие черты мужественного лица, восхитительно раскованное гибкое тело и симпатичная ямочка на левой щеке. Но великолепней всего в этом примечательном человеке была его улыбка, словно бы орошавшая мир радужным ливнем. Да, то был в самом деле прекраснейший из ангелов, и никто не понимал, как прежде можно было жить без этого зримого обещания возрождения и любви.

Рафаэле Сантанджело не сводил глаз с Клары до конца пьесы, а когда наступила тишина, обратился к Маэстро.

— Я вторгся без приглашения, — сказал он, — нарушая ваш дружеский вечер.

Голос был тот же, который она слышала давно, в нем звучала та же ярость, что разливалась по дороге смерти.

— Хотел засвидетельствовать тебе свое почтение, — сказал он Леоноре.

Она встала и протянула руку для поцелуя.

— Ах, друг мой, — сказала она, — не правда ли, все мы стареем.

Он коротко поклонился, ответив:

— Твоя красота вечна.

Когда он вошел в комнату, мужчины встали, но не поздоровались и продолжали стоять с выражением нарочитого равнодушия, сквозь которое явственно читалась неприязнь. Аччиавати подошел к Кларе, но самая разительная перемена случилась с Петрусом, уже успевшим отдать должное москато и рухнуть в кресло. Прибытие губернатора не заставило его встать, но он весь напружинился, как цепной пес, губы его недобро кривились, и из них вырывалось злобное рычание.

В тот момент, когда взгляды Маэстро и Губернатора встретились, фортепианная зала вспыхнула снопом золотистых звезд. Клара так удивилась, что вскочила, как только пространство заискрилось блестящей пылью в двойном конусе света, в котором плясали неведомые фрагменты памяти. Конусы, зародившиеся в каждом из двоих мужчин, сомкнулись в сечении, где концентрировались их силы. Из всех присутствующих только Петрус, казалось, видел этот конус, он пре-

дупреждающе зарычал и поднял голову — одежда на нем топорщилась. Но Губернатор смотрел на Маэстро, а Маэстро смотрел на Губернатора, и ни один из них не спешил начать беседу. Надо сказать, что дружеская компания тоже, невзирая на страх, молчала и сохраняла странную неподвижность. Наконец на лице Алессандро вспыхнул новый свет, так что оно словно помолодело, черты его заострились. Кларе понравилось то, что она увидела, но одновременно она испытала новое беспокойство, словно предвестник боли великих событий и фатальных решений.

— Чудная компания, — произнес наконец Рафаэле. Но он уже не улыбался. Единым — о, весьма грациозным — жестом обведя рукой собравшихся и словно приглашая каждого в свидетели своих слов, он добавил: — Побольше бы таких компаний и связывающих их тесных уз.

Густаво улыбнулся.

— Узы связываются естественным путем, — сказал он.

— Узы выковываются, — ответил Рафаэле.

— Мы всего лишь художники, — сказал Маэстро, — и повинуемся только звездам.

— Но мужество нужно каждому, — сказал Губернатор, — а художник — тоже человек.

— Кто судит об участи людей?

— Кто судит об их случайности? Звезды не обладают мужеством.

— У них есть мудрость.

— Мудрость — прибежище слабых, — сказал Губернатор, — храбрые верят лишь фактам.

И, не ожидая ответа Маэстро, он подошел к фортепиано и посмотрел на Клару.

— Значит, это и есть вторая малышка… — прошептал он. — Как тебя зовут, девочка?

Она не ответила.

Из глубины кресла раздалось ворчание Петруса.

— Может, она немая?

Маэстро положил руку Кларе на плечо.

— А… значит, без разрешения нельзя говорить, — сказал Рафаэле.

— Меня зовут Клара, — сказала она.

— Где твои родители?

— Я приехала с дядей Сандро.

— Кто выучил тебя играть на фортепиано? Из живописцев получаются неплохие учителя, но я не знал, что они обучают петь камни.

В конусе света возник образ вымощенной черными камнями дороги со склонившимися над ней высокими деревьями. И в памяти Клары

всплыли слова Маэстро: «Храм, где мы можем видеть». А потом в конусе снова заметались смутные фигуры.

Губернатор задумчиво смотрел на девочку, Клара чувствовала его смятение.

— Вы, безумцы, что за химеры влекут вас за собой? — сказал он.

— Химеры питают трубадуров, — любезно ответил Густаво.

— Балованные дети не ведают забот, — ответил Сантанджело, — в то время как другие работают, чтобы они и дальше могли витать в своих грезах.

— Но разве политика не есть химера? — продолжал Маэстро тем же ровным светским тоном.

В обаятельном смехе Губернатора сверкнули все земные радости. Взглянув на Клару, он сказал:

— Берегись, милая барышня, музыканты — софисты. Но я уверен: мы скоро увидимся и сможем привольно поболтать о тех причудливых видениях, что навевает музыка.

Из кресла Петруса раздалось угрожающее рычание.

Губернатор обернулся к Леоноре и поклонился так, что у Клары кровь застыла в жилах. В его

галантном жесте не было уважения, зато промелькнула холодная ненависть.

— Увы, — сказал он, — мне пора.

— Никто тебя не держит, — сказал Петрус не слишком громко.

Рафаэле не взглянул на него.

— Значит, ты окружаешь себя мечтателями и пьяницами? — спросил он Маэстро.

— Бывает компания и похуже, — ответил Густаво.

Губернатор безрадостно улыбнулся.

— Каждый выбирает по себе, — сказал он и уже собрался было уйти, но, как нарочно, в этот момент в зале появился Пьетро Вольпе.

— Губернатор, — сказал он, — я полагал, что ты в другом месте, а теперь обнаруживаю тебя в моем собственном доме.

— Пьетро, — в голосе Губернатора слышалась та же нотка ненависти, с какой он обращался к Леоноре, — я рад, что сумел тебя поразить.

— Боюсь, численное превосходство на моей стороне. Но ты ведь уходишь?

— Меня ждут родные.

— Ты хотел сказать — войска?

— Братья.

— Рим только о них и говорит.

— Это только начало.

— Не сомневаюсь, Губернатор. Я провожу тебя до двери.

— Всегда к твоим услугам, — сказал Рафаэле, — если ты придешь к власти.

— И я тоже, брат мой, — ответил Пьетро. — Время, которому мы служим, отблагодарит нас.

Петрус удовлетворенно хмыкнул.

Рафаэле Сантанджело бросил последний взгляд на Клару и с беспечностью балерины пожал плечами, словно говоря «спешить незачем».

— Прощай, — сказал он и исчез одним элегантным движением, в котором под черной одеждой на мгновение стало заметно совершенное тело бойца.

Как прозрачный камень угадывается в темной воде по бликующему свету, так Кларе, прежде чем гость ушел, унося с собой мелькнувшие тени, почудилось что-то чуждое, притаившееся за его ангельской услужливостью. Но как след, что долго еще остается на сетчатке после исчезновения образа, одна из этих теней сохранилась в ее сознании, и, перебирая подробности встречи с Рафаэле, Клара в какой-то момент вновь разглядела выражение его лица. Тогда, точно так же, как прежде, ее захлестнул ужас при зву-

ках голоса смерти, ее окатило волной красоты, тут же, смытой уродством. В этом брошенном украдкой взгляде было столько благородства, ярости и боли, и столь же блистателен был образ, представший ее внутреннему взору…

Грозовое небо вставало над туманной равниной, и под облаками, летящими в лазури, мелькали сады камней. Клара ощутила на языке вкус снега и фиалок, к нему примешивался густой древесный вкус лесов и бревенчатых заборов, все это было одновременно невообразимо и очень знакомо, словно вкус исчезнувшего мира ожил у нее во рту, и, проведя пальцем по обнаженным граням своего сердца, она впервые увидела, как приливает к нему кровь. Там слились восторг и горе; бесконечная скорбь, отполированная страданием, и горькая память о несбывшейся мечте, и глухо нарастающая ненависть. И вот она увидела в небе птиц, выпущенных невидимыми лучниками, и поняла, что видит глазами Рафаэле то, он утратил. И тогда отвращение, которое вызывала в ней дорога разрухи и смерти, смешалось с каким-то иным душевным порывом, похожим на любовь. Действительно, в те несколько мгновений, когда мужчины стояли лицом к лицу, напряжение между ними росло — вне слов

и движений, словно они достигли такого уровня боевого искусства, когда исход сражения уже не требует контакта. И она увидела изменчивый центр, из которого шла та же самая солнечная волна силы, свидетельствовавшая о том, что оба они принадлежат к одному миру. Но если Маэстро лучился аурой утесов и берегов, то Губернатор словно взлетал стрелой с обугленным светлым оперением. Какая-то деформация сердца мешала ему быть самим собой и, словно открытая рана, зияла на данном от рождения совершенстве.

После ухода Губернатора друзья Маэстро продолжили свое ночное собрание, и по их разговору Клара смогла яснее представить себе римскую политическую сцену. Для нее не стало неожиданностью, что Маэстро играл здесь важную роль, хотя и не заседал ни в одной официальной инстанции, однако ее удивило, что всем были ведомы его сношения с тайной стороной жизни.

— Теперь он тверд, — сказал Пьетро, — и считает победу делом решенным.

— Но еще надеется привлечь тебя на свою сторону, — сказал Маэстро дирижер по имени Роберто.

— То была не просьба, а угроза, — сказал Алессандро, — его псы рыщут по стране, и он всей

силой давит на совет. Хотя Италия лишь пешка в большой военной игре.

— Алессандро Ченти — паршивый живописец, но тонкий стратег, — с горечью и нежностью сказал кто-то из гостей.

Все засмеялись. Но в этом смешанном с сочувствием и страхом веселье Кларе различила ту же решимость, что была и у Алессандро, и это испугало ее, потому что разжигало и в ней самой ответный пыл. Она смотрела на этих мужчин и женщин с блестящими манерами баловней судьбы и видела в их глазах осознание бедствия и огонек искусства, теплящийся в глубине, словно судьба их колебалась между озарениями души и ее бессилием. Она видела сообщество мирных людей, решивших занять боевые посты по приказу времени, и это делало каждый час решительным и великолепным. Ей стало ясно, что каждый из гостей появился в доме не случайно: под предлогом празднования дня рождения Леоноры здесь собралась фаланга людей, составленная Маэстро так же, как он отбирал ноты и усеивал свой путь спелыми плодами и прекрасными женщинами. Но Клара не могла понять, что именно превращает этих людей в элиту воинов. Ни один из членов этого светского отряда

не принадлежал к обычному племени солдат, с рассветом идущих на поле боя, чтобы к вечеру оросить его кровью, но все они были первые маршалы Маэстро, его семья, прячущая оружие и силу под праздничным столом, — и Клара с гордостью чувствовала, что тоже к ней принадлежит.

— Первая битва позади, — сказал Маэстро, — и мы ее проиграли. У нас больше нет влияния на совет, и он утвердит полномочия до конца зимы.

— Нам надо готовиться, — сказал Оттавио, седовласый мужчина с мудрыми глазами, которого Алессандро представил Кларе как большого писателя.

— Вашим людям пора обеспечить защиту, — сказал Пьетро.

— Но как можно защитить Клару? — спросил Роберто, и она поняла, что в грядущей схватке ей отводится решающая роль.

— Защитник — всегда под защитой, — сказал Маэстро.

Наконец гости отбыли — за исключением Пьетро, Алессандро и Петруса.

— Теперь ты обнаружена, и в патио возвращаться нельзя, — сказала Леонора Кларе. — Се-

годня ты переночуешь здесь.

Потом она крепко обняла ее и ушла. Пьетро и Алессандро налили себе ликера и устроились в креслах для последней ночной беседы. Петрус исчез, но вскоре вернулся с бутылкой москато и с нежной заботливостью наполнил свой бокал.

— А Губернатор видит то, что я вижу? — спросила Клара.

— В конце что-то рассмотрел, — ответил Маэстро, — хотя я стоял с тобой рядом. Но вряд ли увидел четко.

— Я видела между вами туннель света, — сказала она. — И мощенную камнем дорогу с такими же деревьями, как в твоем саду.

— Камни — средоточие твоей жизни, — сказал он. — И эту дорогу ты увидишь еще не раз.

По тому, как звучал его голос, Клара поняла, что он ею гордится.

— Я слышала пение твоего ручья, — сказала она.

Пьетро улыбнулся, как в тот раз, в патио, когда тщетно искал в нотах стихотворение.

— Отныне ты останешься здесь, — сказал Маэстро. — Прежде чем начать действовать, Рафаэле захочет все разузнать, у нас есть в запасе немного времени. Но надо выставить охрану.

— Я размещу людей, — сказал Пьетро, — но силы неравны. Ведь Рафаэле сюда пробрался, несмотря на наших часовых.

— Кто вторая девочка? — спросил Алессандро. — Похоже, Губернатор ее уже знает. Думаю, это о ней ты хочешь рассказать нам сегодня.

— И именно с тобой я собирался говорить, ибо скоро ты отправишься к ней. Путь долгий, и он таит опасности.

— А можно узнать ее имя?

— Мария, — сказала Клара.

Но не успела ничего добавить, потому что почувствовала огромную тревогу и резко встала, за ней вскочили со своих мест Маэстро и Петрус.

Что за беспокойная ночь! На далекой ферме от неутолимой боли просыпается Марсель, и все сообщество домочадцев направляется к его скорбному одру. Клара видит процессию бабулек, спешащих к изголовью страдальца, где уже находятся Мария и ее отец, прежде других почувствовавшие, что смерть охотится за близким человеком. Она видит беднягу Марселя, разбитого мукой, и, как все остальные, понимает, что бедняга скоро умрет. Клара видит Евгению, которая, узнав о состоянии больного, дрогнула, будто ее ударили, и теперь старается встать

устойчивее в своих толстых шерстяных носках. Нет больше бабульки, скрюченной возрастом и трудами. Долг и опыт, точно резцом, заострили черты усталого лица. И вот к умирающему подходит совсем другая женщина, столь прекрасная, что сердце юной итальянки сжимается при виде красоты, которой суждено исчезнуть, из какого бы железа ее ни выковали. Затем перед ее глазами проходит череда действий по исцелению больного — время словно замирает, но ощущение опасности нарастает. Когда Мария кладет руку на плечо Евгении, Клара чувствует, что погружается в клокочущую магму силы, ей страшно, она боится утонуть в ней навсегда. Но она знает, что ей нельзя покинуть этих женщин, только что преодолевших границу зримого, и она лихорадочно ищет путь сквозь грозу. Слова Маэстро: «Храм, где мы можем видеть» — снова всплывают в ее памяти, и она пытается ухватиться за них, как за плот в штормящем море.

Тогда она видит его, в нем вся ее жизнь. И внезапно наступает покой… В рассеивающемся тумане величественно, как лебедь, к ней плывет красный мост, и по мере его приближения она различает на мосту силуэт и понимает, что это ее отец в обличье проводника душ. Потом силуэт

исчезает, мост замирает на самой высокой ноте, и Клара может контролировать все видения. Она помогает Марии сконцентрировать силы, она передала ей весть и удерживает единство видимого.

— Невероятно, — шепчет Маэстро.

И вот уже вскоре они созерцают ирис, который не виден Марии. Клара смотрит на невидимый цветок с неизъяснимыми лепестками детства на другом конце видения. Евгения принимает условия обмена, и в Риме из ниоткуда возникают двое, а Маэстро тем временем говорит Алессандро:

— На рассвете ты отправишься вместе с ними.

Затем велит Кларе:

— Теперь надо, чтобы она увидела тебя.

Храм Туманов
Малый эльфийский совет

— Невероятно, — сказал Глава совета. — Видения и силы вступили в союз в мире людей.

— Мария — катализатор, — сказал Страж Храма, — а Клара — проводник душ.

— В силовом поле моста есть искажение.

— Есть искажение и в силовом поле туманов. Они меняют не только конфигурацию перехода.

— Но произошел обмен, — сказал Медведь, — и Элий видит то, что мы видим.

— Это преобразует весь пейзаж действия, — добавила Белка. — Наступает время перехода.

— Так скоро, — заметил Глава совета. — Надеюсь, мы готовы.

— Мост открыт, — возвестил Страж Храма, — можно переходить.

Клара
Пора браться за четки

Мария лежала под красным стеганым одеялом и плакала.

Уже несколько недель она нутром чуяла, что предстоит испытание — более трудное, чем все, что выпадало доселе ее родным. Она боялась за них, поскольку знала о печальных событиях их жизни, удручающих их даже многие годы спустя. Январь шел к концу, а снег едва припорошил землю. Стоял сильный мороз, за ночь воздух становился таким студеным, что ледяной рассвет колол и обжигал, точно острый клинок. Но чудесный снег так и не выпал ни до, ни после зимнего солнцестояния, и Мария бродила по окоченевшему междугорью, где звери с тревогой следили за тенями. Исходившая от них смутная угроза с каждым днем чувствовалась острее. Музыка иногда вдруг пропадала, как тогда в мартовских сумерках, и Мария опасалась этих провалов мелодии, как смертоносного нападения, но ни волшебный вепрь, ни серебряный конь не показывались. Еще не время, думала она

с растущим беспокойством, мечтая вернуть свою прежнюю жизнь с ее волшебством, с застывшей графикой любимых деревьев.

И поэтому, едва Мария вошла в комнатенку, где агонизировал неразумный бедолага, сторицей платя за любовь к пулярке, ее озарило интуитивное понимание того, что первая катастрофа уже разразилась. Прикоснувшись к плечу Евгении, она поразилась мастерству, с которым целительница занималась своим делом. Она поняла, что та видит мост и понимает весть, увидела, как Евгения отказывается от схватки и покидает позиции, настраиваясь на музыку деревьев. Мария не стала раздумывать и собираться с силами, — напротив, она отдалась живому ощущению невиданных линий, которые колебались в сердце старой тетушки, и принялась играть на этих укрощенных волнами линиях, как на струнах, которые можно натянуть, изменив тон, или растянуть и ослабить, открыв обширное поле возможностей.

Это не слишком отличалось от того, что она обычно делала с животными, она только растянула до бесконечности то, что лишь слегка раздвигала, когда общалась с зайцами, — ведь лесные звери не так оторваны от природы,

как люди, что не слышат песнопений и не видят вокруг себя роскошных картин. Так Мария указала Евгении путь к мосту единений, образ которого возник перед ней в момент, когда она положила руку на плечо тетушки. Откуда пришел к ней этот образ? Она не знала. Но все произошло так легко и так быстро, и так приятно было высвобождать силы и выпускать на волю природные потоки, и непонятно было, почему людям каждодневно не дано это умение.

Когда Евгения увидела мост, она услышала, как чьи-то голоса запели небесный псалом. Но в отличие от Марии, она не расслышала его слов.

в день что скользнет меж чернильных туч

в вечер вздыхающий в легких туманах

Мир в эти мгновения пения был ослепительно-прозрачен, пронизан вихрем инея и снега, шелком мерцавшего сквозь языки тумана. Мария знала этот великий хорал перехода и плывущих облаков. Он являлся к ней ночью, во снах, но иногда и днем, когда она вышагивала по дорогам. И тогда она останавливалась, изумленная до испуга, до желания умереть в ту же секун-

ду, — а потом пение и видение исчезали, и она бежала за поддержкой к зайцам, потому что, когда голоса смолкали, ей на какое-то мгновение казалось, что ничто не мило, кроме этого пения и туманов. Потом мир снова прояснялся, и боль уходила при виде фиалок и листвы. Мария снова пускалась в путь, размышляя о том, что такое на самом деле явленное ей чудо — греза или некая грань реального мира. Точно так же ей случалось видеть во сне странные туманные пейзажи. Над мостками, переброшенными через поросший кустарником глубокий овраг, вставал рассвет. Попасть туда можно было через деревянную беседку, в широкие проемы которой роскошными картинами вписывалась окрестность. На неровном дубовом полу, где в отблесках света искрилась легкая пыль, стояла очень простая глиняная чаша. Марии хотелось погладить ее кривые шершавые бока. Но она не могла сделать шаг, ибо знала, что нарушит грубым прочерком поверхность пыли, а потому смирилась и только смотрела на глиняную чашу почтительно и жадно.

Да, пение звучало еще чище и хрустальнее, пронзительнее и шире, предупреждая об опасности и призывая к терпению, и это предостере-

жение открыло перед Марией косой просвет — великолепный и ужасный одновременно. Так, погруженная в транс грезы и туманов, Мария не увидела ирис, но в решающий момент внезапно услышала глубокий и мощный звук — трубили сто рогов, — звук столь прекрасный и трагичный, что плоскости реальности разом дрогнули и вихрем устремились к одной неподвижной точке, словно засасывавшей все внутрь.

Как она могла? Как не догадалась? И, лежа под одеялом, Мария плакала горючими слезами, не дававшими облегчения, ведь ирис, показанный Евгенией, не мог стать утешением, а обмен лишал ее любви.

И тогда в комнате возникла Евгения. Она присела на кровать и взяла свою дорогую девочку за ладонь, совсем мокрую от слез. Мария крепко сжала ее морщинистую и жесткую руку.

— Поплакала, и будет, — сказала Евгения, — что уж тут грустить.

Она ласково провела ладонью по лбу девочки, что явилась к ним однажды снежной ночью и принесла столько радости, что хотелось раскинуть руки и натянуть полотно, чтобы по нему могли пронестись все образы счастья.

— Не грусти, — сказала она, — посмотри, что ты

сделала, и не грусти, ангел мой.

Мария сразу вскочила.

— Что я сделала! — прошептала она. — Что я сделала!

— Что ты сделала, — повторила тетушка.

Она чувствовала себя бедной бессловесной крестьянкой, не умеющей поделиться чудом. В ослепительной вспышке она поняла, что за слова звучат в церквах, объединяя столько сердец и собирая столько верующих. Она получила дар речи, столь близко подходящей к непостижимому и называющей то, что должно прийти и возвысить, и увидела наконец, что и в ней самой есть искра. Пусть ей не под силу описать тигровые ирисы и июльские вечера, но она может отразить обнаженную суть того, что увидено и прочувствовано. И тогда она посмотрела на Марию и с улыбкой, осветившей все ее существо, просто сказала:

— Ты исцелила меня, девочка.

И подумала, что оба раза от ярости взрослых людей ее избавлял ребенок.

Что-то надломилось в Марии, словно заиндевевшие своды бесшумно разлетелись осколками и легли на бархат, угасая блеском ртути. В бездонном чернильном небе бесшумно скользили

звезды и птицы, и вниз по реке уплывала тайна ее рождения, благословившая ее даром облегчать старикам их тяжкую ношу.

Ее слезы высохли. Она посмотрела на Евгению, на борозды, проложенные временем прямо по ее милому старому лицу, ласково сжала ей руку и слабо улыбнулась: она увидела радость в сердце своей тетушки и поняла, что есть душа, освобожденная от крестных мук. Евгения покачала головой, похожей на забытое в погребе ссохшееся яблоко, и похлопала по руке своей любимой маленькой волшебницы. Она ощущала в себе легкость и гордость, какие-то прежние желания кружили вокруг нее призывными тенями, и среди них особенно заметны были персики — сочные, точно в раю или в теплые дни их сбора на склоне холма, овеваемого легким ветерком. Все вкусовые ощущения такой мощной волной хлынули в ее рот, как тогда, когда врата восприятия еще не затворены трагедиями, что она почувствовала, как у нее льются слезы, как они смывают внутри ее весь мусор, заваливший песчаный берег, и оставляют его таким же чистым и упругим, как кожура прекраснейших осенних груш. В памяти мелькали сады, где она грезила ребенком, там кружили пчелы и возвращали ей

просторное небо неутолимого детского голода. То, что перед смертью она всеми фибрами детства снова почувствовала мир, показалось ей последней милостью Господа Бога, чье величие она без устали славила. Да что там, всему свое время. Взяться за четки и ленты, подхватить воскресные юбки и летние вечера и влиться в великое братство мертвых, спеть псалмы грозе и небесам и расстаться с прохладой садов. Евгения была готова: оставалось только дать последнее, что положено, и навсегда покончить с эрой полночных бесед. Она встала, дошла до двери и, обернувшись, сказала Марии:

— Ты ведь соберешь боярышник.

И исчезла.

Мария осталась одна в молчании новой, только что начавшейся эры. В покое садов и цветов по-новому организовывался мир. Она прислонилась к стене и приняла ощущения, кружащиеся в поле ее преображенной жизни. Она видела, как наслаиваются ячейки, в которые прежде заключалась ее жизнь, и образуют какую-то немыслимую по размаху структуру, а на слои, которые она уже знает, накладываются вселенные, соседствуя, сталкиваясь и соприкасаясь. И видно было в такую даль, что кружилась голова. Мир подни-

мался к небу вереницами плоскостей сложного архитектурного замысла, все двигалось, распадалось и снова строилось — как вепрь в день ее десятилетия, который был одновременно конем и человеком, и одновременно происходило взаимопроникновение и растворение, и туман служил роскошной завесой. Она видела города, улицы и мосты которых сверкали ранним утром в пухлом золотистом простуженном тумане, разлетающемся с чиханьем и снова смыкающемся над домами.

«Увижу ли я когда-нибудь эти города?» — подумала Мария.

И заснула, укутавшись в свои видения. Сначала она увидела гористый пейзаж с озерами и ульями, фруктовые сады с пожухлой на солнце травой и селение, прилепившееся к склону горы, обвив его домами, как изгибами ракушки. Все было новым, и все было знакомым. Потом это видение сменилось образом просторной комнаты с паркетом, блестящим, как прозрачная вода.

Перед инструментом, напоминавшим орган, сидела девочка и играла музыку, совсем не похожую на звуки мессы, чудесную музыку, где не было разлета и гулкости церковных сводов, но была легкая материя золотой пыли,

на которой стояла чаша, так притягивавшая Марию. Но музыка эта вдобавок несла в себе мощную весть — весть скорби и прощения. В какой-то момент Мария просто отдалась течению истории, которую рассказывала мелодия, но тут девочка прекратила играть, и Мария услышала, что она шепчет непонятные слова, звучащие глухим предупреждением.

Наконец все исчезло, и Мария проснулась.

Пьетро
Великий негоциант

Клара смотрела на двоих мужчин, которые возникли в комнате и тут же попали в объятия Петруса.

— О друг моих долгих застолий! — воскликнул первый.

— Рад видеть тебя, старый сумасброд, — сказал другой и похлопал Петруса по спине.

Потом они обернулись к Сандро, и тот из двоих, что был выше, очень смуглый и темноволосый, поклонился и произнес:

— Маркус, слуга покорный.

— Паулус. — Другой тоже поклонился, и Клара с интересом отметила, что волосы у него рыжие, как у Петруса.

Они разительно отличались от Маэстро, хотя она и улавливала роднящие их ритмы и интонации голоса, угадывала в каждом какой-то второй план, иную натуру. Маэстро, к примеру, у нее ассоциировался с табуном диких лошадей, а у высокого, на голову выше Пьетро, плотного мужчины, что назвался Маркусом, этот фон был

широким и темным.

У второго же, который весил не больше перышка, мелькало что-то юркое и золотистое.

Алессандро, похоже, совершенно не удивился их появлению и смотрел на них с любопытством, сдобренным ощутимой симпатией.

— Сожалею, но придется срочно отправиться в путь, — сказал Маэстро.

— Она плачет, — сказал Паулус, — но грядущего не изменить.

Клара поняла, что он видит Марию. В этот момент Евгения вошла в спаленку, присела на кровать и с улыбкой, ласково взяла за руку свою любимицу. Сердце Клары сжалось.

— Что сейчас произойдет? — спросила она.

— Многое нам неизвестно, — ответил Маэстро, — но одно мы знаем точно.

— Евгения исчерпала свои силы, — догадалась Клара.

— Силы участвуют в обмене, но не возникают из ничего, — сказал Маэстро.

— Я больше ее не увижу? — спросила она.

— Нет! — отрезал он.

— Даже в другой жизни?

— Миров много, но жизнь — одна, — заметил Маэстро.

Клара опустила голову.

— Она сделала осознанный выбор, — добавил он. — Не жалей ее.

— Я жалею себя, — ответила она.

Но он уже открыл военный совет.

— Мария живет во Франции. Враг собирается напасть на ее селение, — сказал он, обращаясь к Алессандро.

— Мы успеем прийти к ним на помощь?

— Нет. Вы прибудете после битвы, но, если она останется в живых, увезешь ее в надежное место.

— Что за надежное место?

Маэстро улыбнулся.

— Я не воин, — сказал Алессандро.

— Да.

— И ты посылаешь меня не в бой.

— Да. Но там будет опасно.

Теперь и Алессандро улыбнулся.

— Я боюсь лишь отчаяния, — сказал он. Потом, снова став серьезным, добавил: — Надеюсь, Мария выживет.

— Я тоже надеюсь, — сказал Маэстро. — Потому что в таком случае нам не придется плакать и, если действовать с умом, мы сможем попытать судьбу.

Клара посмотрела на Марию, стараясь понять, как сделать, чтобы та ее увидела. Но вокруг маленькой француженки морем разливалось бесконечное одиночество.

— Ты найдешь путь, — сказал ей Паулус.

Пятеро мужчин встали, и Кларе стало грустно, как розовому кусту зимой. Но Алессандро обернулся к ней и с улыбкой сказал:

— Ты ведь видишь Марию, правда?

Она утвердительно кивнула.

— И тех, кто возле нее, тоже?

— Да, — ответила она, — я вижу тех, кого видит она.

— Значит, ты скоро увидишь меня, — сказал он. — Я буду знать, что ты на меня смотришь.

Прежде чем покинуть комнату, Маркус приблизился к ней, достал из кармана предмет, утонувший в его сжатом кулаке, и торжественно поднес ей. Клара протянула руку, и он положил ей на ладонь что-то мягкое. Она с восхищением увидела шарик диаметром около десяти сантиметров, покрытый мехом наподобие кроличьего. Шарик был неправильной формы, с одной стороны немного сплюснутый, а с другой — чуть выпуклый. Но несмотря на неправильную форму, он выглядел приятно и забавно.

— Лучше, чтобы тебя сопровождал предок, — сказал Маркус. — Его вручил мне твой отец в момент перехода. Разумеется, он неактивен.

Даже упоминание об отце поблекло перед ощущением, которое возникло у Клары от прикосновения к шарику.

— Что я должна делать? — спросила она.

— Никогда с ним не расставаться, — ответил он. — Без контакта с одним из нас он умрет.

Волны, которые излучал пушистый мех, восхищали Клару. Ей чудилось, что с ней кто-то говорит вполголоса, слышался то лепет ребенка, то череда неясных слов, то странное и нежное мурлыканье. Пьетро подошел взглянуть, что у нее в руке. Тогда она подняла глаза и их взгляды встретились. Несмотря на долгие месяцы, которые Клара провела на вилле, они никогда не сталкивались. Но, склонившись над сферой, они почувствовали, что в каждом из них скрывается бездна.

Пьетро Вольпе прожил три десятилетия ада и три десятилетия света. Он бережно хранил память о первых лишь для того, чтобы лучше провести вторые. Вставая по утрам, он каждый раз видел перед собой отца, снова ненавидел его, опять прощал, заново проживая детские годы

с зоркостью, которая свела бы его с ума, если бы он не выучился страдать и исцелять одним движением и не жил бы в доме, где родился и вырос. Однако, хоть он и сменил его убранство, стены остались теми же, они видели, как он ненавидел и погибал, и призраки прежних жильцов бродили по патио. Почему Роберто Вольпе не дорожил сыном, чьего появления он так страстно желал? Он был эстет и любил то, что делал, в силу общей любви к красивым вещам и успешной коммерции, к тому, что он знал о людях. Его речи не затрагивали высоких материй, но и не были лживы, и такова парадоксальным образом была вся его личность: ни поверхностная, ни глубокая. Но с первого взгляда отец и сын возненавидели друг друга окончательно и бесповоротно. Пусть те, кого удивляет, что проклятие может поселиться в столь юной душе, вспомнят, что детство — это сон, в котором можно прозреть то, чего еще не знаешь.

В десять лет Пьетро дрался на улицах, как хулиган из городского предместья. Он был высок и силен и обладал тем чувством ритма, которое обычно сопровождается обостренностью чувств. Это сделало его непобедимым, а потому парией, и его мать Альба чахла от тоски, кото-

рую не смогло исцелить и рождение младшей дочери. Еще десять лет, и улица научила Пьетро всем способам боя. В двадцать лет он не знал, кто он — опасный человек или яростный зверь. По ночам он дрался, скандируя стихи, запоем читал, мрачно боролся, изредка возвращался на виллу, стараясь не попадаться на глаза отцу, и видел плачущую мать и хорошеющую день ото дня сестру. Он молча брал Альбу за руку и не отпускал, пока она не выплачется, а потом мрачно уходил в том же молчании, в которое замуровал всю свою жизнь. Прошло еще десять лет отчаяния, такие же неприметные, как голос, который он слышал иногда в себе самом. Мать старела, а Леонора расцветала, молча смотрела на него и улыбалась, словно говоря: «Я жду тебя». Но при попытке улыбнуться в ответ он каменел от боли. Тогда она пожимала ему руку и уходила по дугам пространства, которое уже тогда закручивалось вокруг ее движений, и, покидая комнату, бросала ему последний взгляд, снова говоривший: «Я жду тебя». И эта неизменность поддерживала его и в то же время распинала.

Как-то утром он проснулся с осознанием того, что линии времени обратились вспять. Он пришел на виллу в тот момент, когда ее покидал

священник, который сообщил ему, что отец при смерти и что родные искали его всю ночь. Он направился в спальню Роберто, где ждали его Альба и Леонора, и те удалились, оставив его наедине с судьбой.

Пьетро было тридцать лет.

Он приблизился к кровати, где в агонии лежал тот, кого он не видел десять лет. Шторы были задернуты, и, войдя с солнца, он стал слепо высматривать человеческую фигуру, и тут же прямо под дых его ударил орлиный взгляд, алмазом сверкнувший в предсмертных сумерках.

— Все же пришел, Пьетро, — сказал Роберто.

Сына поразило, что он узнал каждую интонацию давно забытого голоса. Он подумал о том, что пропасти времени полнятся страданием и возвращают его таким же чистым, как в первый день. Он ничего не сказал, но подошел ближе, ибо не хотел проявить трусость. В час крушения у отца было то же лицо, что и раньше, но глаза горели так лихорадочно, что Пьетро понял, что отец умрет еще до наступления вечера, и так ярко, что Пьетро усомнился в том, что причина только в болезни.

— За тридцать лет не было дня, чтобы я не думал об этой минуте, — снова заговорил Роберто.

Он засмеялся. Сухой кашель рвал ему грудь, и Пьетро увидел, что отцу страшно. На секунду ему показалось, что сам он ничего не испытывает, а потом его затопила волна гнева, ибо он понял, что смерть ничего не меняет и что ему придется прожить всю жизнь сыном такого отца.

— Я часто боялся умереть, не увидев тебя. Но надо полагать, судьба знает свое дело. — Он скорчился в конвульсиях и на какое-то время умолк.

Пьетро не двигался и не отводил взгляда. Что это была за комната… Темный туман наползал на кровать, вихрясь зловещими смерчами. В недвижности, на которую Пьетро обрек себя, взлетали на воздух куски его жизни. Он вновь увидел лица и кровь своих поединков, и ему вспомнились строки стихотворения. Кому они принадлежали? Он не помнил, чтобы когда-нибудь их читал. Потом судороги прекратились, и Роберто снова заговорил:

— Мне следовало бы раньше понять: судьба проследит, чтобы ты явился вовремя, чтобы увидеть, как я умираю, и услышать, почему мы не любили друг друга.

Его лицо приобрело пепельный оттенок. Пьет-

ро подумал, что он и вправду умер, но после молчания отец заговорил снова.

— Все сказано в завещании, — сказал он. — События, факты, выводы. Но я хочу, чтобы ты знал: я не раскаиваюсь. Все, что я делал, я делал осознанно и ни разу об этом не жалел.

И он поднял руку, словно пытался благословить, но силы покинули его, и движение осталось незаконченным.

— Вот и все, — сказал он.

Пьетро хранил молчание. Он вслушивался в высокий звук, возникший, когда Роберто умолк. Хмель ненависти бурей носился в его душе, и он чувствовал неодолимый позыв убить собственными руками безумного отца. Потом все прошло. Унеслось с какой-то силой, столь же естественной и властной, как желание убить, владевшее им только что, и когда все прошло, он понял, что в душе его что-то открылось. Не осталось ни страдания, ни ненависти, но он чувствовал в груди работу, проделанную человеческой смертью.

Потом во взгляде Роберто мелькнул какой-то неясный свет, и он сказал:

— Береги мать и сестру. Это наш долг. Единственный.

Он медленно выдохнул, в последний раз взглянул на сына и умер.

Нотариус пригласил их к себе тем же вечером. Пьетро оказался единственным наследником отца. Когда они вышли из конторы, было уже темно. Пьетро обнял мать и поцеловал сестру. Леонора посмотрела на него, словно говоря «вот и ты». Он улыбнулся ей и сказал «до завтра».

На следующее утро Пьетро вернулся на виллу. Он обошел все комнаты и одно за другим пересмотрел все произведения искусства. Слуги выходили из кухонь и спален и бормотали вслед ему «condoglianze», но он слышал также «ессо»[7]. Каждая картина что-то говорила его сердцу, каждая скульптура нашептывала стихи, и все ему было так привычно и радостно, словно он никогда не расставался с родными пенатами и не испытывал к ним ненависти. Остановившись возле картины, где рыдающая женщина прижимала к груди Христа, он наконец понял, что с самого начала было ему по душе, и перед ним забрезжил образ того великого негоцианта, которым ему предстояло стать. На закате под лучами не по-ноябрьски палящего

---

[7] Сноски: 7
Соболезную… Вот он… *(ит.)*

солнца похоронили Роберто, и проводить его пришел весь Рим — с его художниками и знатью. По окончании заупокойной мессы все подходили к Пьетро, и он видел, что его признали наследником отца. Его приветствовали с уважением, и он чувствовал, что образ его изменился. С разгулом и драками было покончено, и теперь Пьетро думал только о своей коллекции.

Но ненависть его не умерла.

На кладбище он увидел позади Леоноры мужчину, тот держался прямо и не спускал с него глаз. Что-то в его взгляде подкупало. Поравнявшись с ним, Леонора сказала:

— Это Густаво Аччиавати. Он купил ту большую картину. Завтра он придет к тебе.

Пьетро пожал мужчине руку. Они помолчали.

Потом Аччиавати сказал:

— Не похоже на ноябрь, правда?

На следующий день с самого утра нотариус пригласил Пьетро прийти в контору, где вручил ему конверт и сообщил, что Роберто велел, чтобы никто, кроме сына, не читал этого документа.

— Нарушивший волю — поплатится, — добавил нотариус.

Выйдя на улицу, Пьетро вскрыл конверт, где было два листа. На первом листе была исповедь

отца, на втором — стихотворение, написанное его рукой. Пьетро был потрясен, ему показалось, что он никогда так близко не соприкасался с адом.

На вилле он застал Аччиавати в обществе Леоноры.

— Я не могу продать вам эту картину, — сказал он ему. — Мой отец не должен был соглашаться на эту сделку.

— Я уже заплатил.

— Я верну вам деньги. Но вы можете в любое время приходить и смотреть на нее.

Аччиавати возвращался не раз, и они подружились. В очередной его приход они уселись в зале возле патио и стали обсуждать предложение, полученное Аччиавати из Милана, — дирижировать тамошним оркестром.

— Я буду скучать без Леоноры, — сказал Пьетро.

— Моя судьба — Рим, — ответил Густаво. — Мне придется много гастролировать, но жить я буду здесь и здесь умру.

— Зачем обрекать себя на то, чего можно избежать? Рим — это ад, в нем остались лишь склепы и подкуп.

— У меня нет выбора, — пояснил молодой

Маэстро. — Эта картина прочно привязывает меня к Риму. Но ведь ты точно так же можешь покинуть город. Ты богат и можешь торговать произведениями искусства во всех столицах мира.

— Я остаюсь, потому что не знаю, как простить, — сказал Пьетро. — И потому блуждаю в прошлом.

— Кому ты должен простить? — спросил Аччиавати.

— Отцу, — сказал Пьетро. — Я знаю, что он сделал, но не знаю причин. Но я не христианин и не могу простить, не поняв, в чем дело.

— Значит, ты будешь терпеть ту же муку, от которой страдал всю жизнь.

— Есть ли у меня выбор? — спросил Пьетро.

— Да, — ответил Аччиавати. — Прощать легче, когда можешь понять. Но когда ты не понимаешь, то прощаешь, чтобы не мучиться. Каждое утро ты будешь прощать, не понимая, и на следующее утро все начинать сначала, но сможешь наконец жить без ненависти.

Потом Пьетро задал последний вопрос:

— Почему эта картина притягивает тебя?

— Чтобы ответить, мне надо сказать тебе, кто я такой.

— Я знаю, кто ты.

— Ты знаешь лишь то, что видишь. Но я расскажу тебе сегодня про невидимую часть меня, и ты поверишь, потому что поэты всегда знают, что есть правда.

Под конец долгой беседы, которая длилась до зари следующего дня, Пьетро сказал:

— Выходит, ты знал моего отца.

— С его помощью я пришел к этой картине. Я знаю, что он совершил и сколько тебе пришлось за это заплатить. Но сейчас я не могу сказать тебе ни причины его поступка, ни почему он так важен для нас.

Может, все дело в магии предка, через голову которого они обменялись этим взглядом? Или новая симпатия возникла оттого, что все в эту ночь было срочным и опасным? Минуту, может быть, Клара смотрела на Пьетро и, не зная ни событий, ни имен, понимала все, что было у того на сердце. Она видела, что ему пришлось бороться и отступать, страдать и прощать, что он ненавидел и научился любить, но боль покидает его лишь затем, чтобы вернуться снова и снова. И это было ей тем понятней и ближе, что она читала то же самое в сердце Марии. Та не могла простить себе, что показала Евгении красный мост и возмож-

ность обмена. В человеческом сердце Клара могла читать так же легко, как текст, написанный печатными буквами, и она понимала, как можно связать эти сердца друг с другом и успокоить, потому что теперь она обладала властью рассказывать играя. Клара мысленно поместила предка слева у клавиатуры, и после первой взятой ноты ей показалось, что он настраивается на нее. Потом она послала в пальцы огромное желание рассказать о прощении и о единстве.

Пьетро плакал, Маэстро прижал руку к сердцу. Клара сочиняла прямо во время игры, и волшебные пассажи рождались под ее пальцами — маленькая горянка черпала их из самой глубины своего одинокого сердца, она обращалась к маленькой крестьянке, жившей среди садов и оврагов.

Сколько губ подхватило с тех пор эту мелодию, с пылом отправляясь в путь? Сколько было сражений, сколько знамен, сколько солдат полегло на равнине с тех пор, как Клара Ченти сложила этот гимн последнего союза. И когда Мария в своем сне обрела и услышала девочку с чеканными чертами лица, Пьетро плакал горючими слезами. Звуки врачевали его душу, заставляя

шептать стихи, которые отец начертал на листе. И тогда он увидел, как едкая ненависть внутри его стягивается в одну точку боли, безмерной и слепой, — и страдание шести десятилетий исчезло навсегда.

Отцам крест
Сиротам благодать[8].

[8] Сноски: 8

Ai padri la croce
Agli orfani la grazia.

Вилла Аччиавати
Малый эльфийский совет

— Зрелость ее суждений поразительна, — сказал Маэстро, — а сердце бесконечно чисто.

— Но она всего лишь ребенок, — заметил Петрус.

— Сочиняющий музыку, как гениальный взрослый, и обладающий силой отца, — уточнил Маэстро.

— Ребенок, не знавший родителей и десять лет проторчавший возле дурака-кюре и полоумной старухи, — буркнул Петрус.

— В эти десять лет рядом с ней были деревья и утесы и рассказы старой няньки и пастуха Паолино, — сказал Маэстро.

— Просто завалили дарами, — съехидничал Петрус. — А почему было не дать ей мать? И хоть изредка — какой-нибудь огонек в ночи? Девочка имеет право знать. Она не может продвигаться в потемках.

— Мы тоже плутаем в потемках, — возразил Глава совета, — я волнуюсь за девочек.

— Знание питает вымыслы, а вымыслы высво-

бождают силу, — сказал Петрус.

— Что же мы за отцы? — спросил Страж Храма. — Ведь это наши дочери, а мы вытачиваем из них клинки.

— Тогда дайте мне право самому рассказывать, — потребовал Петрус.

— Делай что угодно, — согласился Глава совета.

Петрус улыбнулся:

— Мне понадобится москато.

— Мне дико хочется попробовать, — заметил Маркус.

— Ты изведаешь радость, — сказал Петрус.

— Охранник, сказитель и пьяница. Ну чем не человек, — усмехнулся Паулус.

— Совершенно не понимаю, что происходит, — сказал Алессандро, — но я польщен.

Отец Франциск
В том краю

Евгения умерла в следующую январскую ночь. Она тихо уснула и не проснулась. Подоив коров, Жанетта постучалась к ней в дверь, удивившись, что на кухне не пахнет утренним кофе. Она позвала остальных. Отец Марии колол дрова в предрассветной тьме, при каждом ударе словно разлетавшейся осколками черного льда. Но он, одетый в охотничью куртку и ушанку, колол дрова по-своему размеренно и невозмутимо, и мороз скользил мимо, как скользили мимо все события его жизни, иногда кусая и раня, но не приковывая к себе его внимания. Однако время от времени он поднимал голову, втягивал ноздрями стылый воздух и думал про себя, что этот рассвет ему чем-то знаком, да вот не вспомнить чем. За ним пришла мать. В первых проблесках рождающегося дня ее слезы блестели как темные текучие бриллианты. Она сообщила ему новость и ласково взяла за руку. Его сердце разрывалось на части, но он подумал, что нет женщины прекрасней ее, и сжал ей руку в ответ. И это говорило больше,

чем все слова.

Ни у кого не было сомнений в том, что именно он должен сообщить малышке. Такой человек был отец. Андре, ибо так его звали, пошел в комнату Марии и обнаружил, что она бодрее стаи ласточек. Он покачал головой и уселся рядом — в той же неописуемой немногословной манере, которой наградил Господь бедного крестьянина с повадками короля. И думается, не случайно чуть больше двенадцати лет назад малютка приземлилась именно тут, какой бы скудной ни казалась эта странная ферма. Несколько секунд Мария не двигалась и, казалось, не дышала. Потом послышалось печальное всхлипывание, и, как все девочки, даже те, что разговаривают с фантастическими вепрями и с конями из чистой ртути, она отчаянно разрыдалась. Так щедро мы льем слезы в двенадцать лет, тогда как в сорок выдавливаем их с трудом.

Огромная скорбь охватила межгорье, где Евгения прожила девять десятилетий, омраченных двумя войнами и двумя утратами, отмеченных бесчисленными исцелениями. На панихиду, которая состоялась через два дня, пришло все ходячее население шести окрестных кантонов — и мужчины, и женщины. Многим пришлось

ждать конца службы на крыльце церкви, но все проследовали с траурной процессией до кладбища и там встали между надгробиями, чтобы прослушать заупокойную молитву. В полуденном морозе высоко над людьми неслись темные тучи, и люди смотрели на них с надеждой, что выпадет славный снежок и вернется нормальная мягкая зима, а то этот вечный холод все кусает и кусает, даже на сердце тошно. И все они, в своих черных траурных пальто, перчатках и шляпах, втайне призывали снегопад и думали о том, что для Евгении он был бы напутствием получше, чем фразы на обиходной латыни, которые бросает на ветер кюре. Но все помалкивали и готовились принять доводы религии, потому что Евгения была набожна, и они все тоже, хотя их вера замешена на густой вольнице, как у всякого выросшего на широких просторах природы человека. Они смотрели на кюре, а тот прочищал горло и подставлял жестокому зимнему ветру славное брюшко, обтянутое белоснежным стихарем, и собирался с духом, прежде чем заговорить. И он прочел проповедь, не запутавшись в многословии цитат и наставлений, но сумел достойно помянуть эту старую женщину, одаренную мудростью кротких, и все растрогались — просто

потому, что прозвучало все искренне.

Отцу Франциску исполнилось пятьдесят три года. Он посвятил жизнь Христу и растениям, никогда не рассматривая их отдельно от того служения, которое избрал себе в тринадцать лет. Он не знал, как сошло на него это призвание и есть ли христианство — не только самая привычная, но и самая точная форма для его воплощения. Религия потребовала ряда жертв, и отнюдь не меньшей из них было смириться с тем, что деревья и дороги отныне будут говорить с ним лишь языком церковного вероучения. Он пережил семинарию с ее бессмысленной зубрежкой и смятение служителя, не находящего в наставниках отклика на собственное мироощущение. Но он прошел все, как проходят сквозь ливень, укрываясь верой в суровых людей, которые были его паствой. И даже несуразности, которые он замечал в речах своего церковного начальства, не мучили его, ибо он в равной степени любил Господа и тех, кому нес его слово. Сегодня отец Франциск смотрел на людей, которые собрались на смиренном кладбище, чтобы предать земле бедную старуху, всю жизнь прожившую на ферме, и чувствовал, как в нем что-то закипает и требует выразиться во весь голос.

Он испытывал замешательство, но без примеси беспокойства. Это чувство было сродни тому, что удержало его от письменного доклада начальству после разных чудес с четками и прочих писем из Италии и сподвигло на беседу с Марией, которая с непробиваемым простодушием повторила те же слова, что и ее бабульки, убедив его, что, даже если она недоговаривает, все равно в ее кристально чистом сердце нет места злу. Кюре оглядел поросшее деревьями кладбище, где в могилах лежало столько простых людей, знавших в жизни лишь деревню и труд. Внезапно ему в голову пришла мысль, что те, кто прожил в этой стране молчания и леса, не ожидая иного богатства, кроме дождя и урожая яблок, никогда не мучились тем страшным отчуждением сердца, что часто встречалось ему в городах в бытность его семинаристом. И тогда, под зловещими облаками, словно стадо тучных волов нависшими над кладбищем, где людей сегодня было больше, чем тополей в роще, отец Франциск понял, что щедро вознагражден тем, что дарят нищие тому, кто принимает их беду и бедность. И что не было вечера, когда, вверяя бумаге дневные размышления на тему мелиссы и полыни, он не чувствовал бы тепло людей, которые вка-

лывают на солнцепеке, по локоть в земле, ничего не имеют, ничего не решают, но просто знают, что такое уважение и честь. Воспоминание о Евгении приняло иной масштаб, словно бесконечно удваиваясь и вписываясь в неведомые пространства и времена, которые теперь мог охватить его разум, увидеть, как преломляется образ бедной бабульки и ее края, такого же упрямого и чистого, как небеса Сотворения мира. Кюре не знал, отчего так изменилось его восприятие, но никогда еще не видел он мир таким, как в этот день похорон, и новый угол зрения был объемнее и полнился тяготами суровой земли лишений и чудес.

Да, пришли все — вся деревня, вся округа, они надели траурные одежды, которые стоили дороже, чем скудный заработок, который приносила земля. Но они и помыслить не могли, что можно появиться в такой день без черных лайковых перчаток и одежды из добротного сукна. Андре Фор, в черной шляпе, стоял возле ямы, с великим трудом вырытой в промерзшей земле, и отец Франциск видел, что за ним стоит вся страна, что он из тех, что олицетворяют и хранят главное, и с помощью кого сообщество людей вернее ощущает себя живым и гордится больше, чем декретами и постановлениями сильных

мира сего. Слева от него молча стояла Мария. Священник почувствовал, как у него внутри словно распускается цветок. В зимнем свете этого слишком сурового даже для местности, привыкшей к тяготам зимы, дня он посмотрел вокруг. На скромных и гордых мужчин и женщин, которые, несмотря на злую метель, пришли на кладбище, чтобы поклониться усопшей. А венчик цветка продолжал распускаться, пока отец Франциск не открыл в себе новый материк личности, головокружительную широту, возникшую, однако же, из тесноты этого кладбища в самой обычной деревенской глуши. Ледяной порыв пронесся над обителью мертвых и сорвал пару шляп, которые мальчишки проворно поймали. Отец Франциск произнес начало ритуальной молитвы.

Будь нашим прибежищем, Господи,
Во всю долготу этой бурной жизни,
Пока не станут длиннее тени
И не придет вечер,
Когда смолкнет бурный мир,
Стихнет лихорадка жизни
И завершится поприще человека.

Он умолк. Поземка внезапно улеглась, и кладбище, потрескивая на морозе, скорбно и благочестиво молчало вместе с ним. Он хотел было заговорить и дочитать молитву:

И тогда,
Господи, в милости Твоей
Даруй нам обитель покоя,
Благое отдохновение и обетованный мир
Во имя Христа Господа нашего.

Но не смог. Все ангелы тому порукой, — не смог, по той простой причине, тоже достаточно очевидно говорящей о том, что за человек был этот кюре, — что не мог вспомнить, какое отношение Господь Иисус Христос и все святые, вместе взятые, имеют к его рассказу об усопшей. И только цветок в нем рос, распускался и наконец целиком заполнил какое-то место в теле, одновременно крошечное и безграничное, а все остальное оставалось пусто. Отец Франциск глубоко вздохнул и стал искать внутри себя ту точку, в которой коренился цветок. Он обнаружил запах фиалок и камеди и такую плотную волну тоски, что его даже замутило. Потом это прошло. И все снова стало немым. Но у него появилось чувство, будто

он видит кладбище, людей и деревья без помех, словно кто-то взял и смыл со стекла пыль дальних дорог. И это было прекрасно. Он молчал непривычно долго, так что люди стали поднимать к нему удивленные лица. Так Андре подметил что-то в физиономии кюре и еще несколько секунд всматривался в него загадочным взглядом вечного молчуна. Их глаза встретились. Мало общего было у этих двоих людей, сведенных судьбой при столь суровых обстоятельствах. Мало общего между смешливым пастором, любителем итальянского языка и доброго вина, и медлительным, замкнутым крестьянином, который общался лишь с Марией да с землей своих полей. Наконец, мало общего было между религией образованных людей и верой деревенщины, связанной лишь интересами общинной жизни. Но этот день был особенным, священник и крестьянин словно впервые увидели друг друга. И тогда они стали просто два человека, из которых один связывал меж собой земные души, которых привела сюда судьба, а другой сегодня понимал его и собирался определить словами узы этой любви. Да, любви. О чем еще можно, по вашему мнению, думать в час черных туч и пронизывающего ветра и что еще поднимает

человека так высоко над кровлей его жилища? Но кто любит — мало печется о Боге, и именно это и произошло нынче с господином кюре, внезапно утратившим и своего Бога, и святых, но зато, в силу непонятного ему волшебства, открывшего мир таким, каким он бывает в озарении любви. Прежде чем заговорить, он в последний раз оглядел толпу прихожан, ждавших от него сигнала прощания, всмотрелся в каждое чело и потом заглянул себе в душу и отыскал там след того мальчика, что играл когда-то в траве возле ручья. Тогда он заговорил:

— Братья мои, в этом краю я прожил с вами тридцать лет. Тридцать лет трудов и тягот, тридцать лет жатв и дождей, тридцать лет непогод и утрат — и тридцать лет рождений и свадеб и молитв во всякий час, потому что вы живете жизнь праведную. Это ваша земля, и дана она вам затем, чтобы вы изведали горечь усталости и немую благодарность полей. Она принадлежит вам по праву, потому что вы подарили ей свою жизненную силу и доверили свои надежды. Она безраздельно принадлежит вам, потому что в ней обрели покой ваши близкие, прежде вас оплатив его своим трудом. Она принадлежит вам без клятв, ибо вы от нее ничего не требуе-

те, а благодарите за признание вас ее слугами и сыновьями. Я жил на этой земле вместе с вами, и сегодня после тридцати лет молитв и проповедей, тридцати лет напутствий и месс я смиренно прошу вас принять меня в ваш круг и назвать вашим ближним. Я был слеп и молю вас о прощении. Вы велики, я же мал, смиренны, когда я беден, и храбры в час, когда силы мои слабеют. Вы люди низкого звания и землепашцы, вы, в любую погоду упорно возделывающие землю каждую зарю, вы — солдаты, выполняющие беспримерную миссию, вы кормите и заботитесь о благоденствии, вы умираете под побегом лозы, которая даст доброе вино вашим детям. И, стоя над могилой той, что велит мне облобызать вместе с вами этот прах и эти камни, я в последний раз умоляю вас принять меня, ибо лишь сегодня мне открылось истинное упоение служения. Мы оплачем Евгению и разделим наше горе, а после посмотрим на лежащую вокруг землю, которая принадлежит нам и дает нам деревья и небо, сады и цветы. И уверуем, что это рай, который принадлежит нам, как и отпущенное нам время, и что в нем можно обрести единственное утешение, к которому отныне стремится мое сердце. Грядет время людей, и я твердо знаю:

ни смерть, ни жизнь, ни мысли, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни светила, ни бездны и никакое создание — ничто не сможет отделить человека от любви, что явлена нашей землей. Грядет время людей, что понимают благородство дубрав и благодать деревьев, время людей, которые умеют собирать и врачевать — и любить, наконец. Слава им во веки веков. Аминь.

И собравшиеся ответили: «аминь».

Все переглядывались, пытаясь осмыслить необычную проповедь. Припоминали слова в нужном порядке, но вместо них всплывали обрывки старых перепевов, и ох как трудно было решить, что там за суть была в этой неожиданной фантазии. Но душой — понимали. Как всякая речь, что черпает лад и ритм в красоте мира, слова кюре объяли мощной поэзией каждого из них. Среди кладбищенских лип стоял холод, но всех согревал незыблемый огонь благостей повседневной жизни с ее реками, розами и небесными песнопениями. Словно легкое перышко коснулось застарелой раны каждого: с ней вроде свыкся, но все равно надеешься, что она заживет — раз и навсегда. А вдруг…

Зато теперь они хотя бы знали молитву —

не на латыни, а по образу и подобию любезных сердцу пейзажей, ласково объятых окружностью гор. Там пахло лозой и кустиком взлохмаченных фиалок, а над одиночеством ложбин и оврагов сияли умытые дождями голубые небеса. Эта жизнь принадлежала им, как отмеренное им время. Они расходились с кладбища, беседовали, обнимались на прощание и готовились вернуться к себе, но ощущали, что впервые как-то тверже стоят на ногах — просто мало кто с ходу понимает, что нет Бога иного, чем благосклонность земли.

Отец Франциск посмотрел на Марию. Венчик, почти совсем уже раскрывшийся в закоулках его сердца, подтвердил известие: именно через эту малышку сходили на них все цветения и удачи, именно ее заступничество смывало течением все то, что могло засорить и запрудить реку, при ее участии сменяли друг друга времена года, закручиваясь вкруг нее спиралью преображенного времени. Он поднял голову к черным тучам, пришвартовавшимся у небесной набережной так же надежно, как вставшее на якорь судно. Андре положил руку ему на плечо, и кюре ощутил магнитный поток, настраивающий и запускающий все события, которые разум силился и не мог

осмыслить, но сердце — понимало сразу, и вся их любовь — тоже понимала. Андре убрал руку. Толпа крестьян ошеломленно смотрела на двух братьев, только что на их глазах обретших друг друга, и с трепетом ждала продолжения. Крестьяне также посматривали на тучи, и всем казалось, что они грозят чем-то неприятным, но происходившее на кладбище стоило того, чтобы пренебречь опасностью. Однако дело, похоже, шло к концу, поскольку отец Франциск осенил всех крестом и знаком велел могильщикам засыпать яму. Мария стояла рядом с отцом и улыбалась, а тот снял шапку и, прищурившись, смотрел в небо, словно грея лицо на солнце, хотя по-прежнему стоял трескучий мороз. Потом девочка шагнула к могиле и достала из кармана бледные соцветья боярышника. Они медленно упали на гроб, и их не унесло метелью.

Однако Андре Фор как будто не спешил покинуть кладбище. Пока Мария тоже смотрела на непривычно мрачнеющее небо — тучи не перекрывали свет, а делали его темным и мертвенным, — он сделал знак кюре. Отец Франциск оглянулся и посмотрел, куда показывал Андре. На южном окоеме полей, за сложенной из плоского камня стенкой, выстраивался черный

дымовой и дождевой фронт. Он двигался медленно, но заодно с ним тучи спускались на землю, так что пространство сдавливалось горизонтом и небосводом, и пришедшие оказались бы заперты на кладбище, если бы не деревня, прилепившаяся к холму, через которую еще можно было убежать, если бы небо и дальше наступало на поля. Впрочем, теперь не только Андре и кюре заметили происходящее, и все как-то замялись, особенно те, кому надо было идти к югу. Мария посмотрела на отца. Что он видел? Никто бы не мог сказать. Но все поняли, что не время выяснять как да почему, а пора готовиться к битве. Мужчины — по крайней мере, те, кто в округе пользовался авторитетом, собрались возле Андре, остальные ждали на ветру. Отец Франциск стоял справа от Андре, и это означало, как каждый без удивления понял, «я иду за ним следом». Тут Андре заговорил, и все поняли, что суровый час настал. Еще через пару минут люди двинулись с кладбища. Те, кому было на север, восток или запад, не мешкая отправились в путь. Другие расходились по фермам или искали убежища в церкви, куда им вскоре принесут горячего вина и плотные одеяла. Наконец с десяток мужчин проводили девочку, мать и трех бабулек

до фермы Марсело. Она выглядела надежной, ибо была опоясана стеной и стояла на возвышении, так что оттуда открывался отличный обзор на всю округу. Женщин и малышку усадили за стол и захлопотали, выкладывая все, что могло подкрепить их моральные и физические силы.

Короток час перед битвой; Мария знала это и улыбалась Лоретте Марсело. Это была видная женщина, носившая свою полноту величаво — в неспешной плавности движений. От ослепительной юной красоты она сохранила гладкое лицо и волосы с медным отливом, уложенные короной, которая, как маяк, приковывала взоры. Можно было без устали смотреть на эту крестьянку с ее бесшумными и бесконечно плавными жестами, даривши ми покой изнуренным сердцам. Вдобавок Мария, которая с детства любила держаться за ее юбки, унюхала запах вербены. Лоретта подшивала ее под платья в маленьких мешочках, и они источали легкий аромат деревьев и винных погребов, — и откуда только взялись такие тонкости в этом краю сплошной деревенщины.

— Да, деточка, хорошие были похороны, — сказала она Марии и улыбнулась.

Это были правильные слова, и, отразившись

на ее молочно-белом челе, они несли печали утоление, лишавшее ее мрачной безнадежности. Хозяйка поставила перед Марией тарелку с домашним сыром и чашку дымящегося молока. В ответ девочка улыбнулась. В доме пахло кофе, к этому запаху примешивался аромат готовящейся на огне домашней птицы. Мужчины остались во дворе, а три бабульки и мать молча отдыхали от утренних переживаний и смотрели, как двигаются круглые локти хозяйки, нарезающей хлеб. Неспешность придавала каждому ее движению особую степенность и горделивость. Наступал час женщин. Час женщин, знающих, каким должен видеть свой дом мужчина перед битвой. В такой час женщины заполняют все пространство жилища, каждый его закуток и каждую щелку, пока семейное гнездо не станет жарким и мягким, как трепещущая грудь, исторгающая самые чистые порывы женской натуры. И ферма, едва вместившая женщин, чьи тела заняли все пространство общей комнаты, отчего та комната стала казаться округлой, воплощая мир, где царила женщина, дарящая удовольствие и радость.

Алессандро
Первопроходцы

На рассвете, последовавшем за ночью великого исцеления, Алессандро, Паулус и Маркус отправились во Францию. Клара не спала всю ночь. Это был последний день земной жизни Евгении, и, когда все прощались, в Риме лил дождь. На крыльце Леонора грустно прижала Клару к себе. Пьетро невозмутимо молчал. Петрус казался еще более помятым, чем обычно.

— Не знаю, что вы найдете в селении, — сказал Маэстро, — но на дороге вас не должны увидеть.

— Не увидеть — когда весь Рим под надзором? — спросила Леонора.

— Люди Пьетро ждут их снаружи, — ответил он ей, — они покинут город тайно.

Все обнялись. Но прежде чем уехать, Сандро встал перед Кларой на колени и, когда глаза их оказались вровень, прошептал:

— Когда-нибудь я расскажу тебе историю одной женщины, которую я знал. Ее звали Тереза. — Он поднял глаза к Маэстро. — Я все думаю… — пробормотал он.

Они скрылись под завесой дождя. Но прежде чем исчезнуть за поворотом аллеи, Алессандро обернулся и помахал Кларе. Может быть, то подействовала сила предка? Ей показалось, что она видит его впервые.

Клара осталась на вилле с Петрусом, который привычно впадал в дрему, как только они оказывались вдвоем. Но в это утро он как-то задумчиво посмотрел на нее, и ей показалось, что он трезвее обычного.

— Кто такая Тереза? — спросила она.

— Что ты знаешь о призраках? — поинтересовался он в ответ.

— Они живут с нами, — сказала она.

— Нет, — ответил он, — это мы живем с ними и не даем им уйти. Они уйдут, если им рассказать правильную историю.

Клара ничего не ответила. Что-то в нем изменилось.

— Я не могу сегодня рассказать тебе о Терезе, — продолжал Петрус, — но я расскажу тебе историю, которая приведет к ней. — Он вздохнул. — Но прежде мне нужно опрокинуть стаканчик.

— Может, лучше не пить? — возразила она.

— Не думаю, — сказал он. — Люди, когда пьют,

утрачивают свои способности, а я становлюсь только сильнее.

Он встал и налил себе густого красного вина.

— Я, должно быть, единственный, чьи таланты раскрываются с вином амароне, — сказал он. — Почему? Загадка и туман.

— Но кто вы на самом деле? — спросила она.

— Как это — кто?

— Маэстро, Паулус, Маркус и ты. Вы ведь не люди?

— Люди? Конечно нет, — сказал он озадаченно. — Мы эльфы.

— Эльфы? — повторила она в изумлении. — Разве бывают эльфы-пьяницы?

Он принял удрученный вид:

— Я не пьяница, у меня просто повышенная чувствительность к алкоголю. Кстати, мы все такие. И что, из-за этого лишать себя такого удовольствия?

— У вас что, все пьют?

— Да нет же, — сказал он немного неуверенно. — Потому-то я и здесь.

— Ты здесь ради москато?

— Я здесь ради москато и разговоров с людьми.

— У эльфов нет интересных разговоров?

— Есть, — сказал Петрус и потер лоб. — Это по-

сложнее, чем я думал, — пробурчал он.

— А чем вы занимаетесь весь день? — поинтересовалась Клара в похвальном желании помочь ему.

— Да разными делами, разными… Стихосложением, каллиграфией, походами в лес ходим, в сады камней, занимаемся керамикой, музыкой. Встречаем сумерки и туманы. Пьем чай.

Целые реки чая.

От этого последнего соображения он как будто приуныл.

— Не могу даже сказать тебе, сколько мы выпиваем чая, — подытожил он, окончательно загрустив.

— А беседы?

— Беседы?

— Они похожи на разговоры с Маэстро?

— Нет-нет. Большинство из нас не столь вдохновенны. Мы — обычные эльфы. Праздники тоже бывают. Только совсем другие.

— Как это — совсем другие?

— Никто не рассказывает историй. Читаем стихи одно за другим, поем длиннющие кантаты. Но никаких историй про привидения или про поиски трюфелей.

При упоминании об этом он сразу оживился.

Как раз накануне один рассыльный вел на кухне нескончаемый рассказ, действие которого происходило в тосканских лесах.

— Значит, ты здесь ради вина и рассказов о поиске трюфелей?

— Маэстро пригласил меня ради историй. Но вино только помогает делу.

— Тебе было скучно на небе? — снова спросила Клара.

— Это не совсем на небе, — пробурчал он, — немного скучновато, да, — но не это главное. Долгое время я вообще слыл никудышным. Но как-то Маэстро спросил, не хочу ли я отправиться к вам. Я прибыл, выпил и остался. Я создан для этого мира. Именно поэтому я могу рассказать тебе историю Алессандро. Потому что мы собратья по ненасытности.

— Маэстро поручил тебе рассказать мне историю Алессандро?

— Не совсем, — ответил Петрус. — На самом деле именно я предложил рассказать тебе твою собственную историю, а это влечет за собой много других историй. Так что, если ты прекратишь задавать свои вопросы, я начну с истории Алессандро. — Удобно устроившись в кресле, где он обычно громко храпел, Петрус вновь наполнил

бокал и приступил к рассказу, и тотчас черты его круглого лица приобрели непривычную стальную четкость, а в голосе появилась доселе неслыханная бархатистость. — История Алессандро начинается примерно сорок лет назад в прекрасном доме в Аквиле, где он жил с матерью, женщиной поразительной, созданной для странствий и чахнувшей от невозможности выбраться за пределы собственного сада. Единственной ее радостью стал младший сын. Ибо Алессандро был прекраснее неба. Во всей провинции не встречали лица совершенней, а нрав ребенка казался отражением его внешности. Он научился говорить на изысканнейшем итальянском языке с такими оборотами, которых в тех местах не слыхали, и с детства выказывал склонности к музыке и рисованию, далеко превосходившие все, что случалось видеть его наставникам. В шестнадцать лет ему уже нечему было у них учиться. В двадцать лет он отправился в Рим, провожаемый слезами и надеждами матери, и пришел к Пьетро, о котором рассказывал ему покойный отец. Он продавал богатым римлянам восточные ковры, которые доставлялись в Абруцци по северной дороге.

Он прервался и вновь налил себе вина.

— Ты хорошо рассказываешь, — сказала Клара.

— Лучше, чем твоя старая няня? — спросил Петрус.

— Да, но голос у тебя не такой красивый.

— Это потому, что в горе пересохло, — сказал он и отхлебнул амароне. — Знаешь, каков секрет хорошего рассказа?

— Вино? — предположила она.

— Лирика и небрежное отношение к истине. Зато вот с сердцем шутки плохи. — И, любовно рассматривая рубиновое содержимое бокала, он продолжал: — Итак, Алессандро отправился в Рим со всей отвагой и сумятицей мыслей двадцатилетнего юноши.

— Я вижу картину, — сказала она.

— Ты видишь ее в моем уме?

— Я вижу то, о чем ты говоришь.

— Замечательно, — сказал он. — И притом без выпивки.

— Это дар моего отца?

— Дар твоего отца плюс твой талант. Эта картина — первая, которую Алессандро показал Пьетро, который в жизни ничего подобного не видел. Он знал рынок искусства и понял, что у него на глазах совершается чудо. На холсте ничего не было изображено. Краски были

набросаны изящными штрихами, уходившими к верхнему краю наподобие вил с тремя неравными зубьями — наружные короче и соединены в основании. Странное дело, если присмотреться хорошенько, ясно было, что штрихи могли быть направлены только в одну сторону. При этом Пьетро видел перед собой текст и задумался, как Алессандро выучил этот язык. Но когда он спросил его об этом, то увидел, что тот не понимает.

— Ты просто так написал *«гора»*, не зная, что означает твоя каллиграмма? — спросил он.

— Я написал «гора»?

Алессандро был изумлен. Он приехал из Авилы и весьма смутно представлял себе мир. Но он начертал знак горы, а Пьетро сумел его прочесть, потому что бывал в стране этих знаков и некоторые из них научился распознавать. Впрочем, все наши умеют, потому что мы давно считаем этот язык своим. А еще потому, что камни гор имеют для нас большое значение. Пьетро спросил у Сандро, есть ли у него другие полотна. У него были. И в последующие месяцы он много писал. Картины были великолепны.

Сандро приехал в Рим без гроша, но за два года стал таким богатым, каким никогда не был

его отец. И все его любили. Женщины дарили его своей любовью, мужчины — дружбой. Он превратился в самого приятного собеседника и сотрапезника. Не знаю, когда он спал. Никогда не видели, чтобы он покидал званый ужин. Всю ночь напролет он беседовал с Пьетро, а утром уже стоял за мольбертом, творя чудеса красками и углем. Ему не требовалась большая мастерская, он жил на вилле Вольпе и работал в твоей комнате возле патио, где еще не было знакомой тебе картины. Да и там он занимал лишь угол, где хранились его кисти и где он писал, глядя в белую стену. Конечно, он уже тогда много пил. Но в этих кругах принято пить, а Сандро писал картины и смеялся. Никто не чувствовал приближения конца. А потом он встретил Марту.

Клара увидела в уме у Петруса женщину с лицом, пересеченным глубокими тенями, которые странным образом придавали ему определенную уверенность и прелесть. У нее были вьющиеся волосы оттенка бледного венецианского золота и нежные светлые, как фаянс, глаза. А в них — бесконечная грусть.

— Она была старше его и замужем. Сандро любил многих женщин, но Марта была родственной душой. Она испытывала любовь к этому велико-

лепному юноше, но все равно тонула в печали, которая сопутствовала ей всю жизнь, и многие именно в этом усматривали объяснение последовавших событий. Но я полагаю, что причины иные, нежели все подозревали, ибо в тот же период Пьетро показал Сандро картину, которая теперь находится в твоей комнате. Позже он вспоминал, что Сандро тогда замолчал. За целый месяц он не написал ни одной картины. Заперся в мастерской и не притрагивался к кисти. Он словно утратил веру в то, что делал. По вечерам он пил.

Словно вспомнив о собственной жажде, Петрус налил себе еще амароне.

— И все же, после того как он увидел картину Пьетро, Сандро написал еще одно полотно, последнее, — снова заговорил Петрус.

На негрунтованном холсте цвета льна по обе стороны от большого пятна масляной краски шли две горизонтальные полосы, прочерченные алой пастелью. Краска местами была черной и тусклой, в других местах — коричневой и блестящей, почти лакированной, а кое-где была как будто присыпана чем-то: вроде мелко растертой древесной коры. Хотя картина тоже была абстрактной, как и первая, ничего не изображала

и не отсылала к тексту, но в застывшем движении краски, не растекающейся по плоскости, а уходящей вглубь, Клара узнала мост, который уже видела, настроившись на волну силы Марии, и изумилась тому, что темное пятно без контуров и штрихов может одновременно быть красным мостом, переброшенным с берега на берег.

— Мост, — сказала она.

— Мост, — подтвердил он. — Мост, который стягивает силы нашего замысла и связывает наш Храм с этим миром. Сандро запечатлел его душу, самую суть — так, словно сам прошел по этому мосту, хотя никогда его не видел. Как это возможно? Ты, например, можешь его видеть, потому что ты — дочь своего отца. Но Сандро? Так же как, не зная изначально, он вывел каллиграмму горы, сумел передать шелковистыми волосками кисточки квинтэссенцию места, где никогда не бывал. И те, кто знает этот мост, были поражены чудом. Картина воссоздавала его — не изображая. А потом Алессандро сжег все свои холсты. Все подумали, что он лишился разума из-за того, что в два дня погибли обе женщины, которых он любил. Марта бросилась в Тибр, и тогда же мы узнали о смерти сестры Марты — Терезы, с которой Сандро связывала самая сильная дружба,

какая только бывает между двумя существами из плоти и крови. Как-нибудь я расскажу тебе об обстоятельствах ее смерти. Как бы то ни было, но Сандро сжег все свои творения, потом покинул Рим и отправился к своему брату, священнику из Сан-Стефано. Там он прожил год, после чего удалился в Аквилу, в дом своей тетки, и жил затворником на третьем этаже ее дома, пока фортепиано не привело его к тебе, через девять лет после того, как он оказался в Абруцци. Чем все это можно объяснить? Сандро всю жизнь любил плачущих женщин, и только такие женщины любили его. Меланхолия живет в сердцах тех, чьи матери лили слезы и кто сам потом полюбил рыдающих женщин. Хотя я не думаю, что прожитые нами истории важнее тех, что мы носим в душе, и считаю, что собственная история Сандро — не о человеке, обугленном любовью. Это история того, кто родился не на том берегу и стремился перейти по мосту на другой берег. Именно об этом говорят его первая и последняя картины.

Петрус вздохнул:

— Никто лучше меня не поймет, что чувствует человек, трагически чуждый миру, в котором ему довелось родиться. Кто-то попадает в чужое

тело, кто-то в чужое место. Их несчастье обычно приписывают изъянам характера, а они просто заблудились, попали не туда, куда надо было.

— Тогда почему же Маэстро не переведет его на другой берег?

— Думаю, он не может, — сказал Петрус. — Мы первопроходцы и должны завязывать новые отношения. Мостки нужно перебрасывать в правильном месте и в подходящий момент.

— А у эльфов есть живопись? — спросила Клара.

— Да, — сказал Петрус, — мы занимаемся каллиграфией и пишем картины, но только то, что видим. Еще мы поем или сочиняем стихи, чтобы растрогать душу, и, кстати, делаем это совсем неплохо. Но этого недостаточно, чтобы изменить реальность.

— А что надо, чтобы изменить реальность?

— Нужны истории, — сказал он.

Клара быстро взглянула на него.

— Я думала, эльфы другие, — сказала она.

— Ах да, эльфы, феи, ведьмы из сказок, все такое. Даже Маэстро не такой, как ты воображала?

— Чуть больше. Расскажи мне о твоем родном мире.

— Что ты хочешь узнать? — спросил Петрус.

— На что он похож?

— Это мир туманов, — сказал он.

— Вы живете как в дымке?

— Нет-нет, там прекрасно все видно. Туманы живые, сквозь них видно все, что нужно, и они перемещаются по мере необходимости.

— Чьей необходимости?

— Сообщества, конечно, — ответил он.

— Сообщества эльфов? — спросила Клара.

— Сообщества вообще, — повторил Петрус, — эльфов, деревьев, камней, предков, животных.

— Все живут вместе?

— Все они — просто вместе, — ответил он. — Разъединение — это болезнь. — Он печально налил себе еще: — Увы, мы утратили рай. — Потом, скосив глаза, добавил: — С людскими историями я и сам справляюсь неплохо, но я думаю, что Маэстро объяснит тебе жизнь эльфов лучше меня.

Клара пожала плечами.

— Похоже, его не интересует, что я чувствую, — сказала она.

И, подражая Аччиавати, она процедила:

— Играй, играй дальше, я буду переворачивать страницы!

Петрус расхохотался.

— Высшие эльфы не отличаются сентиментальностью, — сказал он, — но ты дорога ему больше, чем может показаться на первый взгляд. — Он на секунду как будто задумался. Потом тихонько засмеялся и заметил: — Я вконец пьян. — И, помолчав, добавил: — Но я сделал свое дело.

Клара хотела еще кое о чем расспросить его, но он встал и, с некоторым трудом сохраняя равновесие, сказал, зевнув так, что едва не вывихнул челюсть:

— Пойдем-ка отдохнем. Грядущие дни будут суматошными.

В ту ночь Клара не спала. На город падал бесконечный дождь, а ей грезилась Мария. «Я больше не увижу Евгению», — подумала она, всей душой призывая слезы облегчения, но заплакать не получилось ни днем, ни вечером, когда на вилле устроили легкий ужин. Ночь прошла в скорбной вялости. Клара не вставала с кровати, пока там, в Бургундии, отец Марии не пришел к своей дочери сказать ей то, что было ясно без слов. Слезы подступали, но все не могли пролиться, когда она следила за маленькой француженкой. Та сперва безутешно бродила по зябким комнатам, а потом по скованным льдом полям. И снова все разо-

шлись по спальням в бездействии, которому они предпочли бы любое дело, даже драку. И настал еще один день, зависший между двух эр, и снова потянулись часы, когда Клара снова была одна. Даже Петрус не показывался. Но когда она ужинала с Леонорой, ненадолго заглянул Маэстро.

— Похороны завтра, — сказал он ей, — и ты должна поговорить с Марией.

— Я не знаю ее языка, — сказала Клара.

Он ушел, не ответив.

И вот наступило утро, когда Евгению предстояло предать земле.

Первого февраля, проснувшись после тоскливой ночи, когда она как будто не спала и не бодрствовала, Клара увидела, что предок исчез. Она побежала в пустую обеденную залу, потом в комнату с фортепиано. Он лежал на левой стороне клавиатуры. Петрус храпел в старинном кресле. Маэстро ждал ее.

— Когда я пришел, он лежал здесь, — сказал он, указывая на предка.

Они молча наблюдали за тем, как на ферме готовились к погребению. Потом все отправились к церкви. Толпа, собравшаяся перед входом в храм, поразила Клару многолюдностью и скорбной отрешенностью. Во время заупокойной

мессы она уловила обрывки знакомой латыни, но, главное, поняла по глазам людей, что они довольны службой. Ее заинтересовал священник, который прежде казался ей сделанным из того же теста, что ее деревенский кюре. Падре Ченти был человек неукоснительно скучный, все с признательностью отмечали, что он незлобив, но не могли поблагодарить его за доброту. Он хорошо относился ко всему и ко всем в силу внутренней пустоты, которая не позволяла совершить низость, не делая его при этом способным совершить нечто возвышенное. Так вот, глядя, как отец Франциск с невиданной прямотой проповедует с кафедры, Клара ощутила какое-то предчувствие. Поэтому она не спускала с него глаз все время, пока он шел во главе траурной процессии, и потом стала следить, когда, стоя возле могилы, он начал поминальную речь, споря с ледяными порывами ветра. Маэстро перевел ей слова проповеди, и она уловила в них знакомую мелодию, близкую интонацию, имеющую к падре Ченти столь же далекое отношение, как скучные прелюдии — к щедротам фруктовых садов и степей.

— Вот это человек, — уважительно произнес Маэстро.

Клара была с ним согласна.

В тот же миг Андре положил руку на плечо отца Франциска, точно выражая это ощущение, и Клара тоже подумала: «Вот это человек».

— A loro la gloria, nei secoli dei secoli, amen, — подтвердил Маэстро.

Он замолчал, и они с Кларой некоторое время следили за похоронами. Потом Маэстро сказал ей:

— Еще предстоит немало сюрпризов, и союзники окажутся не настоящими. — И добавил печально: — Смотри.

Клара увидела черную стену.

— Первая битва, — сказал он.

Она вгляделась в гигантский жернов, медленно накатывавший на селение.

— Буря? — спросила она. — А где солдаты?

— Солдаты идут сзади, но по-настоящему они не в счет.

— Тучами повелевает тот, кому служит Рафаэле?

— Да, — сказал Маэстро, — тучами и природными стихиями.

— Ты тоже так можешь?

— Все мы умеем это делать.

— Тогда почему вы оставили Марию в одино-

честве?

— Мы всегда оберегали селение. Но если мы хотим узнать силу Марии, нам следует удержаться от вмешательства в битву. Решение это трудное, но необходимое для оценки ее сил. Они никогда еще по-настоящему не действовали самостоятельно, без нашего участия.

— А если она погибнет?

— Если погибнет, значит мы с самого начала ошибались. Тогда мало надежды, что мы выживем в этой войне.

Клара еще раз посмотрела на чудовищное марево, вставшее на горизонте межгорья.

— Оно огромно, — сказал Маэстро, — но это лишь малая часть того, что может создать враг. Мы были правы, считая, что он не примет всерьез наше пари. Есть предатель, и он информирует врага.

— Есть предатель, он пошел за одним из наших и обнаружил Марию.

— Он шел за серым конем.

— Он шел за главой нашего совета, который принял обличье серого коня, ибо в мире людей мы можем сохранить лишь одну из наших сущностей. Он серый конь и в то же время человек и заяц.

— Почему глава вашего совета непременно хотел увидеть Марию?

И вдруг непонятно как оказалось, что она знает ответ.

— Потому что он ее отец.

— Сила провидения твоего отца велика, — сказал Маэстро, — и равна лишь силе его видения. Теперь ты оцени силу врага и пойми ее природу и ее причины.

— Он портит климат.

— И каждое из этих нарушений подпитывается другими нарушениями. Марселю полагалось умереть. Когда искажают траекторию силы, возникает беспорядок. Даже когда это делают из самых чистых побуждений, как в случае Евгении.

— Но как нам выстоять, если нельзя использовать то же оружие?

— Это — главный вопрос союза.

В молчании они смотрели, как мужчины собираются вокруг отца Франциска и Андре, потом в полном порядке рассредоточиваются: и одни усаживают своих на двуколки, другие уводят женщин и детей под защиту церкви или отправляются на ферму Марсело с парнями из самого первого круга. Ферма эта была больше, чем та,

где жила Мария, но и вещей на ней было гораздо больше. Девочку встретила женщина с медными волосами, которая сразу понравилась Кларе. Все расселись вокруг большого стола, на который выставили хлеб, мед и сливовое варенье этого лета. Хозяйка и ее дочь готовили еду. Время замедлилось и словно осело.

Мужчины во дворе видели, как нарастает сила, несущая погибель, но в доме все было покрыто пологом тишины, и нежность парила в воздухе далеким воспоминанием. В нем мелькали старинные вышивки и тени улыбок, речка, текущая средь высоких трав и могилы, заросшие цветами. «Что за тропу я выбрала на этот раз?» — спросила себя Клара, не сводя глаз с медноволосой женщины. Она могла бы всю жизнь смотреть на нее, и ей бы не надоело. Потом, когда Лоретта Марсело округлым движением поставила перед Марией чашку горячего молока, Клара поняла природу этого жеста, похожего на тот, каким Леонора положила свою ладонь на ее руку в день Клариного одиннадцатилетия.

— Наступит день, и ты войдешь в свой мир, — сказал Маэстро. — Мне жаль, что ты была лишена его. Но тебя ждут и примут в свой круг.

Шли долгие минуты; селение тем временем

готовилось к осаде.

— Что я должна сказать Марии? — спросила Клара.

— Ты найдешь слова, — сказал Маэстро, — а я переведу их.

— Кому служит Губернатор? — спросила она еще.

— Одному из нас.

— Откуда он?

— Из моего собственного дома.

— Как его зовут?

— У нас, в отличие от людей, нет имен, которые даются раз и навсегда. Но поскольку наши друзья предпочитают легенды Древнего Рима, давай назовем его Элий.

— Чего он хочет? — И, не дожидаясь ответа, сказала: — Конца рода человеческого.

Храм Туманов
Малый эльфийский совет

— Хорошо бы Петрусу немного протрезветь.

— Он лучше всего рассказывает, когда пьян.

— Он, бесспорно, совершенствует способности Клары к ясновидению. Какая жуткая схватка.

— Но силы у обеих все прибывают. И те, кому мы доверили Марию, не устают меня поражать.

— Как вырос за день отец Франциск.

— Он был нашим союзником с самого начала.

— Их чувство почвы так же велико, как их мужество.

— Это неразделимо.

Андре
К земле

А вдали нарастала стена. Со двора фермы мужчины яснее видели, что на них надвигалось, еще недавно они и предположить не могли, что так бывает, — но горизонт превратился в гору, которая сомкнула землю и тучи и двигалась вперед, рыча и поглощая поля и деревья. Андре молчал. Нет мужества без дилеммы и характера, что был бы выкован одними победами, без необходимости делать выбор. Андре смотрел на монстра, наступавшего на его родной край, чтобы сломить силы его дочери, и на стержни зла, свивавшиеся вплотную друг к другу мощными воронками, образуя лавину, и не хотел даже представить себе, что останется от его округи, когда стихнет вой бури. Но, кроме того, Андре чувствовал, что враг медлит в преддверии того момента, когда он вступит в контакт с магией Марии, и именно в этом коренилось сомнение, которое ему предстояло вскоре разрешить.

Позади него раздался крик. Жанно показывал пальцем на какую-то далекую точку, где на по-

верхности полей ширилось пятно, и они поняли, что это вода и что их долина тонет в паводке, стремительно поднимающемся к селению. Хотя межгорье располагалось выше долины, люди опасались, поскольку все было так противоестественно, что языки воды, подмывающей земли на юге, могли подойти к самым домам и отрезать все пути к отступлению. Это заботило Андре и других парней, которые, конечно, были не мастера складно разглагольствовать, зато отлично знали, что нельзя дать загнать себя в угол, как крысу.

Оказавшиеся на холме у фермы Марсело мужчины выпили немало вина на облавах, ибо с самого рождения жилось им нелегко и они познали и труды, и дни. И ближайший помощник Андре, Марсело, являл собой сгусток всех качеств, определявших преданных межгорью людей. Жену он взял наперекор всем тем, кто предупреждал его, что избранница старше его на десять лет и уже побывала замужем за человеком, которого любила и которого еще молодым унесла лихорадка. Но Марсело настоял на своем с тем немым упорством, в котором кроются сокровища глубокой проницательности, потому что всегда знал почти мистическим знанием, что эта жен-

щина предназначена именно ему, и был поражен медлительностью, с какой она шла сквозь мир, превращая каждый его день в великолепную эпопею. У Марсело не было слов, которые позволяют передать то, что чувствует тело, в форме, понятной для других. И он бы сильно удивился, если бы кто-то ему объяснил, что он любит свою Лоретту за то, что та замедляет природные потоки и леностью своих поз дарит возможность полностью ими насладиться. При этом он, в отличие от Андре, отнюдь не был молчуном и созерцателем, и народ особенно ценил словечки, которыми он сопровождал все события и дела. Надо было видеть, как он откупоривает бутылку из собственного погреба, всегда хорошего урожая и выдержки, нюхает пробку и выдает присказку с той смесью серьезности и усмешки, что свойственна только людям чистосердечным. Он знал, что слова приобретают вес, становясь расхожими, и потому относился к своим изречениям уважительно и насмешливо. И, рубя твердую колбасу огромным ножом дровосека на ломти, не влезавшие целиком в рот, он выдавал какое-нибудь наставление и сначала важно кивал, а под конец молодецки хмыкал (причем над любимой его присказкой «страх от риска

не подмога» ломало голову пол-округи. Тогда он хлопал гостя по плечу, и начиналась беседа, которая длилась, пока оставалось желание пить и травить охотничьи байки, которые, как всякий знает, не имеют ни правдоподобия, ни конца. Но время от времени он смотрел, как его Лоретта преображает пространство дома, двигаясь по нему медленно, точно спящая танцовщица, и словно бы чувствовал, как на стыке живых нервов вспыхивает волшебная искра и он превращается в кристалл. Опять любовь. Да и можно ли говорить о чем-нибудь другом на этих страницах, посвященных возрождению затерявшегося в веках мира?

Марсело, от рождения нареченный Эженом, но всеми называемый Жеженом, оторвал взгляд от потопа и стал смотреть в небо за фермой. Андре посмотрел туда же. Они обменялись взглядами, и ординарец со значением сообщил своему командиру:

— Снежное небо.

Андре кивнул.

Снежное небо. Настал час принять решение. Любой отец хотел бы уберечь своего ребенка от опасности. Но Андре знал, что тщетно пытаться защитить девочку, спрятав ее в стенах

фермы. Он тяжело вздохнул: так любящий человек смиряется с необходимостью позволить ребенку взрослеть. Разрываясь между сомнением и надеждой, он послал за Марией. Вообще-то, времени оставалось мало. Черная стена встала у больших выгонов и словно бы ждала приказа ринуться вперед. То была армада. Она состояла из дождей, циклонов и грозовых ливней; текучие, они казались тверже скал, и вода у их подножия — темная и ощетинившаяся гранями — на пядь заливала землю. Вдобавок стоял такой вой, что сводило скулы, ибо чувствовалось, что в самой середке этого поганого варева зреет злобная ненависть, готовая разбить и самые закаленные сердца. Мария, укутанная в теплые одежки, в фетровой шляпе, поверх обвязанной шарфом, вышла к отцу и стала рассматривать врага — до странности невозмутимым взглядом. Анжела мрачно стягивала полы тяжелой пелерины. Мороз словно въелся в землю. Температура падала на глазах, и прозрачный воздух заметно дрожал от мороза. Но так же как омерзительные дожди предвещали смерть и зловещий потоп, так и холод, суровевший с каждой секундой, поражал своей противоестественностью и пронзал тела ледяным ядом. Андре роздал одеяла;

закутавшись, все разместились вокруг Марии и Анжелы. Все это напоминало делегацию, сопровождавшую девчонку, еще не достигшую тринадцати лет, и почти столетнюю старушенцию. И если бы какая-нибудь птица пролетела в тот день над двором Жежена, она бы увидела двенадцать крошечных точек и против них — мрачный вал в тысячу пядей. Марсело покачал головой, оглядев небо, и припечатал:

— Стенка на стенку.

И все поняли, что он говорит о стене дьявола и стене Господа Бога.

Что до Андре, то он не думал, что битва как-то связана с вопросами веры. Он подозвал отца Франциска и отослал его назад в селение — позаботиться о тех, кто укрылся в церкви. Кюре поцеловал Марию с мыслью о том, что, может, больше не увидится с ней в этой жизни, полной садов, о которой он наконец-то понял, что она навечно принадлежит им, и благословил старую тетушку со всей сердечностью, какую мог вложить в елей слов. После чего, вверив себя судьбе, направился к церкви. Все молча смотрели на грозную колонну. Бог весть что думали эти парни, шагавшие лишь по земле родного края и видавшие в жизни лишь поля со скирдами

сена.

Но Андре смотрел на Марию. Он знал, что ее видение уходит далеко за пределы зримого мира, он знал это с того рассвета, когда взял на руки найденыша и почувствовал странное пощипывание в глазах. Зрение сначала помутилось, а потом взорвалось целым роем картин. И точно так же ему открылись дороги будущего. Их было так много, что он не мог ясно рассмотреть ни одной, но некоторые из них потом всплывали в памяти, когда то, что они обрисовывали, сбывалось. Как в тот день, когда девочка положила руку на плечо Евгении в комнатушке, где угасал Марсель.

— Мне нужно видеть, — сказал Андре.

Мария показала на темную затаившуюся стену.

— Чудо не понадобится, — сказала она.

Андре кивнул, принимая новую деталь пазла, который подбирался уже скоро тринадцать лет и перекликался с тем, что говорила ему земля в день, когда прокладывались дороги судьбы. И тогда он опустил руку на плечо дочурки и, вложив в свой взгляд молчаливого короля всю непомерность отцовской любви, произнес:

— Ничего не бойся, мне просто надо увидеть.

Она прильнула к отцу, тоже положив руку на его плечо. Как прежде Евгения, отец пошатнулся от толчка. Используя силы, данные ей природой, Мария умножила возможности обычного человека. Глаза Андре смогли охватить все поле битвы единым взглядом, и за всю историю войн ни один полководец не имел столь полного обзора: Андре открылось гигантское пространство, где каждая деталь была словно выписана кистью безумного миниатюриста. Потом Мария убрала руку и контакт прервался. Но Андре все увидел. Он подозвал Жежена, и мужчины сомкнули круг. Анжела тем временем отошла в сторонку и села, чтобы своим Оком Господним следить за маневрами дьявола, принявшего облик ненастья.

Андре сообщил мужчинам то, что узнал:

— На восточном выгоне какие-то странные всадники, пожалуй около сотни. На юге, в засаде за стеной, что-то непонятное: там главная опасность; но позади небо, и там тоже движется что-то чудное.

Жежен почесал нос, замерзший, как сосулька на водосточной трубе.

— Что в них странного?

— Не понимаю, на чем они скачут.

— В каком смысле чудное?

— Много тумана.

— Вот туда мне и надо идти, — сказала Мария.

Андре утвердительно кивнул.

— Церковь? — снова спросил Жежен.

— На прицеле первого удара.

— Какие будут приказания?

— Четверо на защиту церкви, двое остаются здесь, и еще трое идут к опушке с Марией и со мной.

— Меня ты куда хочешь послать?

— В церковь, если ты согласен оставить жену с Жанно и деревенским старостой.

— Согласен.

Потом Андре обратился к Марии:

— Что ты посоветуешь?

И она ответила:

— Нельзя оставаться в домах.

— Общая эвакуация, — сказал Андре мужчинам, — и вперед.

Все сделали, как он решил. Но прежде чем продолжить, надо сказать, что за люди были эти воители. Ибо если вы решили, что все это происходит по воле случая, то, значит, упустили из виду кое-что, что они усвоили так же четко, как то, что небо вот-вот рухнет на их го-

ловы. На самом деле в мире одни выдумки, одни россказни, но в них тоже надо уметь отделять благородное зерно от плевел. Их истории неистребимо пахли лесной древесиной и травой, парящей на первой нежной заре. И не потому, что им досталась первозданная природа, которая видела последних наследников крови, они к тому же понимали, какая это ценность.

Кто сможет — поймет. Жежен неплохо это сформулировал, прощаясь с Лореттой, которую он вместе с другими вывел с фермы и поцеловал со словами «мы еще споем».

Итак, их было десять.

Там был Марсело, который охотился, пахал, пил, гулял и балагурил как человек, навеки укрытый сенью любви. Он, по сути, являлся одним из великих мечтателей, корнями прочно уходящих в землю. Смотрите, как он хлопает кюре по плечу, сообщая ему приказы отца Марии, и вы увидите человека, из которого на войне выйдет отличнейший солдат, хотя мысли его витают в звездах.

Там был Жанно, которому эта война напомнила другую, и в душе у него воскресла безумная надежда, что действительность утихомирит мучительный зуд воспоминаний и впереди снова

откроется дорога жизни, пресекшаяся в день, когда у него на глазах погиб брат. Каждое утро он просыпается с этой жгучей раной, которая никому не видна, и пьет со всеми, и хохочет над байками, а душа у него голая и несчастная, как розовый куст зимой.

Там был Жюло, родившийся Жюлем Леко вскоре после первой великой войны и задолго до второй, по молодости не попавший под призыв и бывший старостой этого чудесного, затерянного в горах селения. Он был главным дорожным обходчиком, и все соглашались, что вряд ли найдется староста лучше его, по той причине, которую все считали основательней, чем первые дни творения, — что он лучше всех забивал сваи на шесть кантонов вокруг. А поскольку дело это требует упорства, сноровки, оптимизма и святого терпения, то, несомненно, является отличной подготовкой к посту старосты, ведь именно эти качества помогают человеку управлять краем. К ним добавлялось глубокое знание каждого закоулка. А если добавить любовь к молодому вину и к кабанине сразу после поста, то в итоге получался отличный староста.

Был там Рири Фор, третий брат Андре, лесничий. Он охранял лес и породнился с каждым

деревом и с каждой тварью, рогатой, мохнатой или пернатой. Все любили его, потому что он распределял вырубки с пониманием и в вопросе браконьерских потрав придерживался разумного баланса попустительства и закона, который в этом краю, не любившем ни строгости, ни наглости, почитался превыше Божьих заповедей. И потому под его присмотром люди браконьерствовали помаленьку, не ставя под угрозу богатство и красоту лесов. Он знал, что зайцы, тайком умыкнутые у государства, натворили бы больше вреда набегами на ячмень и пшеницу, и закрывал глаза на мелкие прегрешения, дабы не совершалось крупных.

Был там Жорж Эшар, отзывавшийся на кличку Шашар, если удавалось застать его в мастерской. Там было темнее, чем у коровы в заду, и пахло кожей, салом и дегтем, которыми он пропитывал хомуты и седла. Сам он жил над мастерской, но домой поднимался редко, а наоборот, едва закончив дело, пулей вылетал из тесного помещения и мчался в лес охотиться, пока не грянет конец света. Женой он так и не обзавелся — слишком боялся, что та заставит отклоняться от прямой, соединявшей верстак шорника со следом драгоценной дичи. Но он был заме-

чательным товарищем — на рассвете радостно втягивал ноздрями чудный светящийся воздух нарождающегося дня и смеялся, когда из-под носа у заспанных охотников взлетали стайки дроздов. Насвистывая, он несся к своим зарослям и ружье через плечо крепил так тесно, что мог спокойно держать руки в карманах. Марии очень нравилось такое сочетание беспечности и стремительности, и она всегда смотрела на него с улыбкой.

Был там Риполь, по документам Поль-Анри. Он держал в соседнем селении кузницу, но родился здесь и в решающие часы всегда возвращался в родную деревню. Он был женат на красивейшей женщине Бургундии, которую провожали взглядом почтительно, как одно из прекрасных творений матушки-природы, но без лишнего вожделения, поскольку кухарка из нее была никакая. И хотя любовь и не исчерпывается умением готовить, оно, однако же, входит в нее такой заметной частью, особенно в сердца мужчин межгорья, что те без труда смирялись с отсутствием в своей жизни голубоглазой красавицы, когда их собственные жены ставили на стол — и не как-нибудь, а с доброй улыбкой — тушеную говядину с морковкой, таяв-

шую быстрее, чем мартовский снег.

И был там, наконец, тот самый Леон Сора, которого всегда так и звали: Леон Сора, потому что в округе было столько Леонов, что приходилось как-то отличать от прочих. Он владел самой крупной фермой в кантоне, и работал там с двумя сыновьями, одного из которых тоже назвали Леоном — из того особого упрямства, которое сильно способствует выживанию в суровых местах, а другого — Гастоном-Валери, в похвальном стремлении компенсировать краткость имен отца и первенца. Оба парня, молодые и красивые, обихаживали ферму под строгим надзором своего гневливого папаши и были невероятно добродушны и крепки как скала. Все с восхищением смотрели на двух молодцов и их бригадира, чья гранитная суровость временами не выдерживала и обрушивалась под натиском веселья сыновей. И тогда в конце дня, когда все они шли к ферме, где мать и жены накрывали столы на двенадцать изголодавшихся работников, на суровом лице патриарха можно было с удивлением заметить смутную улыбку.

Да, вот кто были те девять парней, что сразу присоединились к Андре во время совета на кладбище, — жизнь выковала их, раскалив и отбив,

как железо, между молотом и наковальней, со всем уважением, какое испытывает кузнец к материалу. А затем отобрала заготовку, отлила ее в благородную форму и дала остыть. Поскольку в дальнейшем парни имели дело только с косулями и оврагами, то их железо не ржавело, а сохранялось — тем, что религия запрещала им называть, а именно простой и мощной магией природного мира, которая усилилась с прибытием девочки, удесятерявшей все ее виды. Так что в минуты, когда каждый из них спешил занять боевой пост, у всех в уме звучали слова, возникшие сами собой из глубоких волн, идущих от Андре и усиливаемых Марией; они раздавались теперь в каждой голове, готовившейся к борьбе, и звучали в ней заклинанием: «К земле, к земле — иначе смерть!»

Так вся округа вышла из укрытий. Мужчины пытались найти углы, где можно было хоть как-то спрятаться от ветра и от первого удара, и каждый старался не смотреть на темную стену, дрожа от ни с чем не сравнимой стужи. Однако все подчинялись приказу с чувством, которое согревало их в тот страшный день апокалипсиса и, как трепетный огонек, теплилось в той части человеческого организма, которую называют

сердцевиной, или душой. На самом деле имя не важно, когда есть суть, глубинное понимание того, что именно связь, сплотившая воедино мужчин и женщин этих земель, и придает всей окрестной местности невидимые порядок и силу. Люди чувствовали, что с ними мудрость вещей, которые живут и существуют так, как они должны жить и существовать, и знали, что их ведут командиры, способные принимать решения с учетом трудов, а не химер.

Они не знали — по крайней мере, не знали тем знанием, что может воплотиться в слова, — что их уверенность идет от Андре, прожившего пятьдесят два года с этой упоительной мыслью и умножавшего в каждом из них звучание напева земли. Но, даже не зная этого, люди чувствовали силы, черпая их из живительной близости тучных пастбищ и пашен.

Староста и Жанно остались на ферме, откуда готовились рассылать вестовых — местную молодежь, умевшую бегать быстрее зайцев, чтобы держать других командиров в курсе. Марсело, Рири, Риполь и Леон Сора явились в церковь и объединили свои усилия с кюре, который совсем недавно влился в их ряды, но объяснения ему нужны были как рыбе зонтик. Наконец,

сам Андре в сопровождении Марии, Шашара и двух сыновей Леона Сора направился к лесу. Вот где сосредоточилось биение судьбы: в этих мужчинах и этой девочке, которые спешат наверх к опушке, покрытой панцирем льда, и замечают, как лес вокруг застыл в тишине отчаяния и, кажется, сам превратился в отчаяние. Но они продолжают идти и вскоре достигают цели.

Странной цели, как сказал Андре. Хотя в двух шагах лесные дороги охвачены безмолвным ледяным оцепенением, за линией последних деревьев их встретило внезапное журчание. От неожиданности они остановились и засмотрелись. Холод, вгрызавшийся в них до костей, под открытым небом казался чуть мягче, и они гадали, не связано ли это с туманами, плававшими в необычно тесном пространстве. По знаку Андре трое следовавших за ним мужчин замерли на месте; взглянув на Марию, он снова отдал приказ двигаться. Они шли в центре круга, где туманы словно закручивались в медленном и мощном танце, однако сквозь них можно было видеть. Это было немыслимо. Туманные шлейфы были плотными, как стена, и при этом прозрачными, как ключевая вода. Взгляд проходил сквозь невидимые завихрения, хотя они были непрони-

цаемей камней! Наконец из воронки раздавался шепот, казавшийся им самым приятным звуком, который им доводилось слышать в этой жизни. К тихим возгласам словно примешивались чьи-то голоса, но звуки вибрировали, опушка поскрипывала в ответ, и слова как-то не складывались. Шашар залихватски вскарабкался наверх (это куда?), как всегда не вынимая рук из карманов, но, увидев открывшуюся ему сцену, едва не выдрал подкладку своих штанов, пытаясь поскорее выпростать руки. У братьев Сора отвисла челюсть — сила тяжести вкупе с изумлением одолела природное веселье. Но Андре смотрел на Марию взглядом, в котором не было ни призыва к отступлению, ни понукания.

Она остановилась посреди опушки, и туманы странным и сложным движением закружились вокруг нее. Наконец она воочию увидела то, что предчувствовала в течение долгих месяцев после письма из Италии и сна с белым конем.

Она видела.

Грядущую ярость и стрелы смерти.

Свой отъезд, если выживет после атаки.

Она четко различала голоса, которые другие только угадывали.

возрождение туманов
лишенные корней
последнее единение

Что-то сдвинулось, и небосвод ее внутреннего взора прорезали полосы краски, которые медленно растекались, пока не исчезли в последнем жемчужном разрыве света.

Она ощущала волны своей силы, которые вскипали и устремлялись вперед. И слышала голос маленькой пианистки из ночи великого исцеления.

Мария
Мария
Мария

Мужчины ждали. Они все еще мерзли, но чуть меньше, чем в долине, и смотрели на туманы, вихрящиеся вокруг малышки, совсем окоченевшей от стужи, которая шла не из воздуха.

Мария
Мария
Мария

Что-то взорвалось с таким грохотом, что все бросились на землю. Враг наконец перешел к действию. Темная стена с рычанием рухнула

и со всего размаху навалилась на окраину деревни и церковь. Но от удара сама стена распалась и во всю ширь обнажила свое чудовищное уродство. Хуже того, обвал приоткрыл завесу над тем, что стояло в гибельной засаде. Свистящие смерчи и бьющие наповал дожди прокладывали путь черным стрелам, в которых визжала смерть — разящая и холодная.

Крыши домов рухнули.

Первые секунды были самыми страшными.

Словно все антихристовы казни разом обрушились на сельчан, лишенных укрытий. Дождь, падавший отвесно, разил и бил их, как камнями, оставляя на теле вмятины, которые не кровоточили, но пронзали болью. Следом за ударами внутрь вползал холод, уже не похожий ни на что на свете. К этому добавлялся ветер, странным образом рушивший кровли, не сдергивая их, а словно обваливая внутрь, и Жежен со своими людьми благословлял Марию, спасшую их от неминуемой гибели. Наконец, самое страшное зло несли черные стрелы. Они быстро пронеслись сквозь первый отрезок своей траектории, потом на полпути замедлились и зависли внутри бури, словно бесконечно прицеливались и выбирали жертву. А потом разом устремились вперед,

и начался кошмар. Стрелы не вонзались в своих жертв, а взрывались в нескольких сантиметрах от них, сбивая с ног волной такой ударной силы, что ломались кости. Несколько сельчан рухнули на землю. Впрочем, почти все легли ничком, как только началась атака, и закрывали телом более слабых, пока ветер и стрелы гнали потоки воздуха, опасные, как мины. Хуже того, одновременно прибывала вода, и на глазах у людей вершилось невероятное — вода поднималась в гору одной силой злой воли… увы… всю округу затопило под стрелами ненависти, обращавшей природные стихии в орудия пыток и мести… и люди вжимались в плоскость вселенной и чувствовали себя крысами на гибнущем корабле.

Итак, все упали ничком, но двое мужчин, несмотря на творящийся вокруг них ужас, остались стоять. Это было что-то: кюре и деревенский мужик, стоявшие посреди бури. Вихри и стрелы каким-то чудом обходили их стороной, в то время как стена подмяла под себя всю долину. Поспешные умы решат, что это пример мужества и безрассудства, — но дело в том, что в момент, когда стрелы стали взрываться, священник и крестьянин вдруг поняли, что именно является оружием в данной войне. Они почувствовали:

в битве дух так же важен, как и материя, и можно сражаться сердцем так же успешно, как ружьем. Но надо сказать, что и стрелы словно не замечали двух смельчаков, не склонявших головы, когда все пали ниц. К тому же, увидев это, Рири, Риполь и шестидесятидевятилетний Леон Сора с его застарелым ревматизмом, поднятый на ноги хмелем отваги, тоже встали и заняли оборону, отметив про себя, что стрелы словно магнитом притягивает к поверженным. Иногда солдатам лучше отсидеться в окопе, но бывает, что надо стоять под залпами: без единого слова пятеро мужчин быстро собрали в центре площади всех, кто мог ходить, и приказали стоять там, спиной к спине, плотным кольцом, которое стрелы не атаковали впрямую, хотя и продолжали взрываться возле самой церкви. Наступила краткая передышка. Но люди знали, что это ненадолго, потому что вода подступала, и Жежен поглядывал наверх, в сторону фермы и лесов, со все более озабоченным видом, гадая, что делает Мария и уцелеет ли его Лоретта.

Неф церкви обрушился с грохотом канонады, во все стороны брызнули камни. На ферме «У оврага», где осталась мать Марии, сошлись мороз и шторм такой силы, что мог потопить судно

в открытом море, и, хотя крыша пока держалась, доски хлева начинали подаваться, и по двору летала выбитая из земли щебенка. В лесах звери затаились, но под покровом деревьев холод кусался даже сильнее, чем на открытом месте. Во всей округе та же ярость природы сбрасывала все, что создавала в тихие дни прежней жизни, опрокидывала все, что прежде стояло под небом, и люди гадали, сколько смогут выдержать под натиском бури, за несколько минут уничтожившей добрую часть того, что веками выстраивал человеческий гений. Однако надежда еще жила, потому что с ними была волшебная девочка, доблестный командир и земля, никогда не предававшая своих работников. И когда прошла первая паника, низведшая каждого до состояния твари, люди почувствовали, как в них нарастает что-то вроде возмущения. Ведь как бы бедны ни были, они все равно не привыкли к такому обращению, и бунт в душе подпитывался куражом долгой зимней охоты, отвагой браконьерства и теплом дружеской попойки. И все это было как нельзя кстати в грозовую пору. А потом оказалось, что волна отваги, идущая от земли, не дающей в обиду тех, кто умеет ее беречь, — а катаклизмы все шли с высот небесных — дает им перевести

дух посреди ненастья, ибо дождю и ветру не удается набрать силу бóльшую, чем та, которой земля ставит заслон.

Да, сила земли. Стоя на опушке, где разворачивалась другая борьба — та, что шла в сердце Марии, — Андре чувствовал это всей силой, всей жизнью, проведенной на бороздах пашни, и всей вековой крестьянской мудростью, что текла в его венах. Он не знал, как именно она действовала, но ощущал как волшебство, и объяснения заботили его не больше, чем точное место, где скрещивались силовые линии на физической карте межгорья, давая тем, кого он любил, новые запасы решимости, идущей из оголенных корней земли. Но он знал и то, что армада, в этот час выстроившаяся над ними, вздымает меч, который невозможно отразить одним оружием земли.

Он посмотрел на Марию и сказал ей:

— Небо — за тобой.

Тереза
Сестры Клементе

Клара и Маэстро смотрели, как Мария и ее отец поднимаются к опушке туманов, а остальные трое замыкают шествие так, как если бы они сопровождали самого Господа Иисуса Христа.

Два парня помоложе были красивыми, яркими, как фазаны по осени, и в них чувствовалась сила натур, созданных для радости. А третий, старший, шел, держа руки в карманах, и все в нем ликовало от свободы, а лицо было в мелких морщинках — от возраста и от постоянного хохота. Но на всех лицах была написана одна и та же решимость, словно эти люди сознавали, что временно примкнули к чему-то большему, чем собственный мирок. Путники покинули сень деревьев и вышли на опушку.

Клару поразила каллиграмма, которую вычертили туманы. Так же как Алессандро выводил краской знаки, не понимая их значения, туманы ткали рассказ истории, языка которой она не могла распознать. Но ее заботила главным образом Мария и беспокоила морщинка, залег-

шая у ее губ с той ночи, когда Евгения вылечила Марселя. Она читала в ней тоску и страх так же четко, как на каменной скрижали, и догадывалась, что это тот же знак, что лежит на лицах офицеров, которым предстоит потерять кого-то из солдат.

Петрус, громко храпевший с самого утра, зевнул и с трудом выбрался из кресла. Он поймал взгляд Маэстро, и что-то словно подняло его на ноги.

— Мне надо выпить, — буркнул он.

Потом, проникнув в видение Клары, он оглядел пейзаж битвы и присвистнул сквозь зубы.

— Начало неудачное, — сказал он.

— Она думает о Евгении, — сказала Клара. — Боится потерять еще кого-то из близких и любимых.

— Печальный опыт полководцев, — сказал Маэстро.

— Она не полководец, — сказала Клара, — она страшится за родителей.

— Роза и Андре — не родители Марии, — сказал Петрус.

На восточной поляне Мария развернулась и встала лицом к снежному небу, парни сделали то же самое, задрав нос к молочно-белым облакам.

— На этой войне много сирот, — помолчав, сказала Клара.

— В мире вообще много сирот и много разных видов сиротства, — заметил Маэстро.

Снова повисло молчание. Во взгляде, который Петрус бросил на Маэстро, Клара уловила упрек. Налив себе москато, Петрус обратился к ней:

— Мы задолжали тебе одну историю. Про сестер Клементе.

В голове Клары возник образ двух юных женщин, сидящих рядышком в летнем саду. Она уже знала одну из них, ее звали Марта и она была великой любовью Алессандро. Но другую Клара принялась рассматривать с любопытством, к которому примешивалась какая-то нежность, неотчетливая, как смутное свечение воздуха в жаркий день. Женщина была темноволосой и порывистой: в ушах подвески из хрусталя, чистый овал лица с милыми ямочками, золотистая кожа и смех, вспыхивающий, как костер в ночи. Но еще в ее лице виделась сосредоточенность душ, вся жизнь которых проходит внутри, и лукавая строгость, с годами приобретающая особый серебряный блеск.

— Марта и Тереза Клементе, — сказал Петрус. — Нельзя представить себе сестер, настолько

несхожих между собой и при этом столь тесно связанных друг с другом. Их разделяли десять лет, а главное — горе. Клементе давали приемы, где как призрак мелькало огорченное личико Марты. Все находили ее красивой и печальной, и все любили ее грустные поэмы, написанные зрелой рукой и умным сердцем. В двадцать лет она вышла за человека, столь же мало созданного для любви, сколь и для поэзии, и перестала показываться на светских вечерах, где теперь появлялась ее сестра, очень красивая и веселая, которая была на редкость одаренной.

В десять лет были присущи техника и зрелость, которым завидовали пианисты гораздо старше ее, — и при этом она была озорна, как сорока, и упряма, как лиса, если не хотела играть заданные ей пьесы. Алессандро подружился с ней задолго до того, как встретил Марту, и часто говорил, что она грубо нарушает закон, гласящий, что артисты легко мирятся с несчастьями, потому что именно оттуда вырастает их искусство. Но он видел и бездонный омут, который таился в ней, и знал, что, даже смеясь, она ни на секунду не отступалась от глубоких поисков. Иногда девочка смотрела на облака, и Маэстро видел, как на лицо ее тенью ложатся туманы.

Потом она начинала играть на рояле и достигала еще большей высоты. Марта слушала ее и глаза ее светились любовью к сестре, а потом, поцеловав ее, уходила в сумерки танцующей походкой. Но когда старшая скрывалась за поворотом аллеи, младшая садилась на ступеньки крыльца и ждала, пока не стихнет боль оттого, что Марта так страдает. Эта способность быть поразительно счастливой и боль любви к сестре, ушедшей в затворничество несчастья, — все было в ее игре. Не знаю, могут ли обмениваться сердцами люди одной крови, но думаю, что Тереза и Марта принадлежали к высокой касте паломников, объединенных общими устремлениями и отмеченных печатью высшего братства. Вокруг гудела родня, занятая пышными приемами — пределом фантазий богачей. Родители столь же мало могли понять своих дочерей, как разглядеть человеческий лес за фикусом в гостиной. И потому сестры Клементе росли под опекой прислуги и четы призраков, одетых во фрак и в газовое платье. Они жили как на острове, с которого видно, как вдали, оставляя белый след и никогда не приставая к берегу, где живут, грешат и любят, проплывают корабли.

Может быть, Марта, родившись на десять

лет раньше сестры, приняла на себя все безразличие отца и матери, и потому сила, что шла по наследству, возможно, от какой-нибудь прародительницы из тех давних времен, когда деньги еще не отравили вкуса к тихой жизни, смогла воплотиться в нежной плоти Терезы и под щитом, образованным меланхолией старшей, расцвести ярче, чем у других. Но зато это создало тесный союз, и принцип жизни Терезы базировался на том, что Марта своим жизненным принципом пожертвовала. А потому неудивительно, что за смертью одной последовала смерть другой. Хотя обстоятельства этого события столь трудно распутать во всех их причинах и мнимостях, что я не удивлюсь, если под конец окажется, что все мы — выдумка педантичного, но абсолютно безумного романиста.

Петрус умолк.

— Ты играешь, как мать, — сказал Маэстро, — и именно твоя игра вызывает ее призрак, которому я еще не сумел рассказать настоящую историю. Ты знаешь, почему человек не может найти в себе слова, которые высвободят живых и мертвых?

— Из-за печали, — ответила Клара.

— Из-за печали, — повторил он.

Впервые с тех пор, как они познакомились, Клара увидела на его лице боль.

— Тогда уже наступила эпоха смут и подозрений, и твой отец часто возвращался на виллу ночью, — снова заговорил он. — И вот однажды Тереза сидела в зале и играла сонату.

Маэстро умолк, и Клара погрузилась в воспоминания. Окна в комнате были распахнуты в сладостный воздух лета, из дома доносилась та соната, на полях которой она обнаружила стихотворение, соединявшее сердца и пронизывавшее пространство видениями. Два года назад она сыграла это произведение в тот вечер, когда сон привел ее к Марии. В воздухе стоял запах ручьев и мокрой земли, но история, которую рассказывала музыка, осталась для нее совершенно непонятной, и стихотворение замкнулось в облако молчания. Клара слушала, как играет молодая женщина, и тот же комок сжался у нее в груди. Потом в комнате возник мужчина. Он появился ниоткуда и теперь пристально всматривался — в то, что музыка открывала ему в нем самом.

Клара могла в мельчайших подробностях разглядеть его лицо, преображенное музыкой. В этом лице, сияющем молодостью, она различила тысячелетнюю мудрость, отсвет луны и задумчивость

речного потока.

— Вдохновение пришло к ней от наших туманов, — сказал мужчина, обращаясь к Маэстро, который в этом воспоминании десятилетней давности стоял напротив.

— Но она добавила к нему красоту, идущую от земли.

— Земля вдохновляет ее, но именно та тайна, что зовется женщиной, рождает игру и упоение, — ответил Маэстро.

— Не все женщины играют, как она.

— Но все несут в себе ту сущность, которую ты угадываешь в ее игре.

Потом видение исчезло, и Клара снова оказалась рядом с сегодняшним Маэстро.

— Год они были счастливы, — сказал он, — а потом Тереза поняла, что ждет ребенка. И это стало настоящим бедствием.

— Бедствием для совета?

— Твой отец предупредил не весь совет. Я же сказал тебе, то было время первых смут, потому что честолюбие Элия и его влияние постоянно росли, и это все больше нас беспокоило. Мы оказались втянуты во внутренние раздоры невиданного масштаба и узнали предательства, которых не могли заподозрить. И потому, когда

стало известно о беременности Терезы, мы решили хранить в тайне это столь же необъяснимое, как истощение наших туманов, чудо — появление ребенка, зачатого женщиной из мира людей и эльфом. По сей день это первый и единственный случай. Все прочие смешанные браки всегда оставались бездетны.

— Тереза сообщила, что якобы хочет провести год в размышлениях, и удалилась в родовое имение на севере Умбрии, — сказал Петрус. — Никто ничего не узнал.

Клара увидела виллу с суровыми стенами, окруженную большим садом. Вилла возвышалась над долиной с отлогими полями и небольшими холмами. Клара услышала, как из невидимой комнаты донеслись звуки сонаты — теперь расцвеченные новой глубиной, с проблеском серебра и ливня.

— Накануне твоего рождения Марта бросилась в Тибр. Тереза произвела на свет девочку. А на следующую ночь угасла. Уснула и не проснулась. Но твой отец уже перешел мост в обратном направлении, потому что его призывало другое рождение, случившееся у нас. В доме Главы совета в тот же час, что и ты, родилась девочка.

И она тоже была явным и волшебным ис-

ключением, потому что, хотя и зачатая двумя эльфами, явилась на свет с совершенно человеческой внешностью, чего среди нас никогда не случалось и никогда с тех пор не повторялось. Мы рождаемся в симбиозе веществ и принимаем единственную внешность, лишь покидая наш мир. Но эта малышка, как ее ни повернуть и с какой бы стороны ни взглянуть, походила на всех прочих маленьких человечков. Мы столкнулись с двумя невозможными рождениями в один день и в один час. И было принято решение скрыть тех, что явно были частью какого-то могущественного намерения и кого мы хотели защитить от клана Элия.

— И тогда вы послали нас далеко от места, где были наши корни, — сказала она.

— Алессандро еще прежде описывал мне селение, где жил его брат, — сказал Маэстро, — и я сделал так, что тебя отправили в Санто-Стефано. Марии выпало более сложное странствие, ее путь пролег через Испанию и до фермы Евгении. Эта история принадлежит ей, и сегодня мы не станем тебе ее рассказывать.

— Ей известно, что она приемная дочь?

— Твой отец показал ей, как она появилась на ферме, — ответил Маэстро. — Ей надо было

знать это, чтобы высвободить свои силы.

— Из вас двоих только в тебе есть доля человеческого, — сказал Петрус, — и потому ты можешь сплетать связи и наводить мосты. Ты играешь на фортепиано, как твоя мать, но добавляешь в игру силу, которая идет к тебе от могущества отца. Ты видишь, как отец, но добавляешь к видению связи, которые дала тебе человеческая природа матери.

Клару посетило видение. Оно было отчетливей и трепетней, чем прежние умозрительные образы, и она понимала, что смотрит в лицо Терезе, которая играет сонату с искрами ливня и серебра. На последней ноте ее мать подняла голову, и Клара в смятении почувствовала присутствие живой женщины.

— Призраки живы, — прошептала она.

И в первый раз за двенадцать лет, не ведавших ни слез, ни смеха, она вдруг принялась одновременно плакать и смеяться. Петрус шумно высморкался в гигантский носовой платок, потом мужчины молча дождались, когда она осушит слезы.

— Все эти годы я жалел, что твоя мать так и не узнала тебя, — сказал Маэстро. — Я видел, как ты растешь с кристальным мужеством, ка-

кому позавидовали бы многие храбрецы, и часто думал, что судьба не дала встретиться двум самым замечательным женщинам, которых мне довелось знать. Я видел в тебе наследие ее силы и чистоты, я много раз узнавал в тебе ее черты, но видел и то, что принадлежит лишь тебе и что, я уверен, привело бы Терезу в восторг.

Она увидела свою мать сидящей в светотени умбрийского сада. Тереза смеялась, и хрустальные подвески мерцали в вечернем свете. В отблеске заката ласковый серебряный блик скользнул по ее щеке, как речная рыбка.

— Если будет девочка, — услышала она слова, — я хочу, чтобы она любила горы.

Видимо, ей ответили, потому что мать улыбнулась и сказала:

— Горы и летние сады.

Потом она исчезла.

— Алессандро сказал мне, что самое его любимое место в Абруцци — сад приходского дома, — сказал Маэстро. — Благодаря этой истории я научился верить знакам, которыми усеяны наши пути. Стихам, которые написал отец в надежде, что их прочтет его дочь, каллиграммам горы, прочерченным пером, не ведающим своего дела.

Я знал, что однажды ты вернешься ко мне

из Абруцци. Как я отправил тебя туда по знаку сада, так и ты отправилась по дороге в Рим, повинуясь знаку забытого фортепиано.

Клара услышала, как Сандро произнес «там прозрачные сливы и каскады тени». Но ярче всего, как светлячки в ночи, мерцал голос матери, в нем раскрылся просвет и доносились какие-то другие голоса. Что-то о женщинах и могилах, о письмах с войны и тихих вечерних песнях. Все голоса, и могилы, и женщины под траурной вуалью шептали о любви в каменных кладбищенских аллеях… Клара увидела сад ирисов и юношу со светлыми и грустными глазами, и голос нежно шептал: «Ступай, сынок, и запомни навеки, как мы тебя любим». И сердце Клары дрогнуло, узнав голос старой Евгении. Потом она увидела Розу, призрачную и великолепную, которая улыбалась сквозь крылья бури, и эта улыбка говорила: «Мы — матери выше смерти и тайны рождений».

И тогда во второй раз за двенадцать лет она заплакала.

Храм Туманов
Малый эльфийский совет

— Клара — это связь.

— У нее поразительная сила сопереживания.

— Несмотря на годы засухи.

— Благодаря годам засухи.

— Благодаря чуду, каким она является и которое одолело годы засухи.

— Ей помогают все женщины.

Роза
Посланницы небес

Вот что значит беда.

Первым пал один из юных вестовых, которые обеспечивали быстрый обмен сведениями между фермой Марсело, опушкой и церковью. Его отправили сообщить, что замечено какое-то движение на востоке, там, где, по словам Андре, стояли странные всадники на неведомых зверях. Он пустился в путь, как раз когда ветры налетели на холм. Остальных спасла неподвижность, а юношу на бегу подхватили щупальца бури, некоторое время раскачивали его в ледяных порывах ветра, а потом швырнули, как мешок, о твердую каменную стенку. Все видели, как упал вестовой, и двое мужчин хотели добраться до несчастного мальчика ползком, чтобы и их не унесло ветром, но судьба наконец приняла решение. Неожиданно показались вражеские всадники, окружавшие обе фермы. Вид их был страшен. Исполинские фигуры состояли из какой-то мертвенной, зловещей материи, заполнявшей уродливые человекообразные

контуры, не имевшие лиц. Но кровь стыла еще и оттого, что они внезапно материализовались по всему периметру и застыли в призрачной неподвижности, словно сотканной из тишины и бешенства. Что же до их скакунов… господи, да не было никаких скакунов. Всадники оседлали пустоту, и если бы славные защитники селения хоть немного знали физику, они бы поняли, что оказались в невероятном присутствии источника антиматерии, опровергающего всю механику известного мироздания.

Погибли и другие защитники. В церкви стрелы возобновили свой изначальный ритм атак. Передышки не было, выбитые ударной волной камни разлетались во все стороны. Дождь бил наотмашь, и раненые уползали под струями воды, колючими как иглы. Троих задавило насмерть каменными плитами, выбитыми из основания колокольни, еще двое погибли от ранений копьями, которые теперь жалили с новой силой.

Пятеро мужчин, которым было поручено защищать укрывшихся в церкви, беспомощно присутствовали при разгроме, и с первыми погибшими исчезла надежда на то, что волшебной силы Марии окажется достаточно для спасения от погибели. Кюре и Леон Сора теснее сплотили

ряды своей паствы, пока трое сельчан ползком направились к жертвам и попытались оказать им посильную помощь. Увы, могли они немного. Бессилие жгло им душу.

Ах это бессилие… Бесконечно слабы человеческие твари, но беспредельна и их отвага в последние часы, когда рушится все. Мы уже говорили, что снежное небо встало за полем сражения, словно выжидая на границе опушки. И это чувствовали люди в церкви, так же как те, кто защищал ферму Лоретты или ждал с Андре в лесу, потому что снежное небо в это мгновение, когда все готово было рухнуть, пробуждало в каждом человеке какую-то давнюю, затаенную мечту. И конечно, первым кинул клич воодушевления для всех сердец — Жежен. Надо сказать, что его греза, как станет ясно в дальнейшем, была, возможно, не меньше всех этих прекрасных и неуловимых мечтаний, но он и в тот день оставался самим собой — верным и насмешливым. И когда удалось справиться с оторопью при виде распоясавшегося врага, с горечью осознав его мощь и коварство, Жежен понял, что они слишком долго препираются с собственным страхом. Настал час платить за жизнь в любви и с добрым вином. К тому же ему не слишком улыбалось уто-

нуть или быть раздавленным каменным блоком. Он был не прочь умереть достойно, как мужчина, а не ползать слизняком под облаками. А уж кто, дьявол или другая какая злокозненная сила наслала эту бурю, заботило его не больше, чем кулинарные рецепты жены. К тому же ему становилось ясно, что лучники, которые пускают подлые стрелы, стоят за горой. Он знаком подозвал Рири и Риполя и, когда они собрались возле Леона Сора, сложив ладони рупором, заорал:

— Все в мастерскую Шашара!

Скоро мы узнаем, чем он собрался там заняться, но видите, их бессилие уже проходит и больше не вернется. И случились еще другие радикальные изменения там, перед фермами, которые окружала сотня набитых сумерками чучел.

И тут появилась Роза. Все вокруг прочно стояли на земле, она же жила в небе, и пищу ей давали волны и ручьи — в этой стране лугов, — отсюда ее неколебимая скромность и что-то особенное, неуловимое, прозрачное, как бегущая вода. Когда Мария обнимала мать перед сном, она могла почувствовать, что грусть, которая у отца осела, как ил и глина, в Розе текла рекой, и несла вниз по течению утраты, и примешивалась к ее влажному дыханию, и никто не угадывал силу

этого потока грусти. И если Андре, хотя и предчувствуя удивительную судьбу своей дочери, все-таки спал спокойно, то потому, что знал силу Розы, такой хрупкой на первый взгляд. Сколько ни приглядывайся к этой крестьянке, такой скромной и незаметной, не привлекавшей взгляда ни лицом, ни жестами, ни голосом и ни румянцем, — будешь без конца удивляться, как такая пресная женщина порождает вокруг себя целый сонм волн добра и симпатии. Единственные слова любви, сказанные ей мужем как-то зимним утречком, когда они лежали в постели и смотрели на звезды, были о том, что она — как вода, которую пытаешься удержать в ладони, как речная галька или цветок. Конечно, то было исключение, потому что Андре Фор не был щедр на слова и сообщал жене все необходимое средствами скупыми до гениальности. Конечно, им помогала гениальность, которую любовь придает взглядам и жестам. Но в этой крайней скудости слов всплывало имя, и он просто шептал «Роза» и смотрел на нее, потому что лишь он один ощущал клинок, который точился о хрустальную нить и сверкал, прекрасно и жутко, в часы любви.

Итак, чуть раньше Роза вышла с Жанеттой

и Марией на крыльцо фермы «У оврага», собираясь присоединиться к Лоретте. Но буря уже развернула свои батальоны, и невозможно было сделать ни шагу во дворе, где в дьявольском танго кружились вырванные доски и перепуганные куры. Она вместе с двумя бабульками отступила к южной стенке хлева, который пока не поддавался атакам ветра, и стала ждать. Сквозь бурю до нее доходило смятение Марии, и вместе с порывами ветра возвращались воспоминания целой жизни.

Все началось с того, что ее родители, безграмотные крестьяне, захотели для нее судьбы лучше собственной. Но то немногое, что увидела мать в городе, убедило ее, что добродетельно там прожить нельзя. Она допускала, что человек может жить бедно, но при условии, что не принадлежит никому, кроме себя.

И потому, когда ее землячки устраивались в городе кормилицами и няньками, она не захотела, чтобы ее девочка себе на погибель попала в богатый дом. Вместо этого Розу раз в неделю водили в монастырь, неподалеку от соседнего городка, где монахини обучали грамоте и основам веры бедных девушек кантона.

На дорогу уходило два часа, и на рассвете

старший брат усаживал Розу в телегу и отвозил на уроки, а потом дожидался их окончания на кухне. Но со временем она прекратила слушать псалмы и проповеди, потому что с головой ушла в книги, которые сестры давали ей после вечерни. Она плакала над стихами о ручьях и небесах, которые открывали единственный по-настоящему близкий ей мир, и над рассказами, текущими под облаками, которые казались ближе глины полей, восторженно отзывавшихся слову Господнему. Позже отец Франциск дал ей почитать рассказы путешественников, где мореходы плыли по звездам и вглядывались в воздушные пути, которые были для них яснее, чем сплетение земных дорог, и этот зов странствий и созвездий стал ей еще дороже небесных письмен Бога. Но эта природная способность отождествлять себя с текучими элементами не имела для Розы ничего общего с осознанием физических миров, и принцип, который связывал ее с потоками и облаками, надо искать не в осязаемом мире. Некоторые женщины обладают особой аурой. Она возникает в них от многократного умножения женской сути, подобно эху, что, делая их уникальными и частью множества, воплощает их одновременно в них

самих и в потомках. Если Роза была сама небесная лазурь и речная вода, то потому, что в ней жил поток ее предшественниц. Он тек благодаря магии слияния со всем женским родом, идущей гораздо дальше наследования крови. И если она мечтала о путешествии, то потому, что ее взор пронизывал пространства и времена и связывал между собой ступени материка женщин, — и отсюда ее прозрачная открытость, делавшая ее неуловимой и легкой, и текучая энергия, которую Роза черпала далеко за пределами самой себя.

Какой-то необъяснимый сдвиг памяти перенес ее назад, и она увидела себя в утро свадьбы — в белой юбке и лифе, с кружевной фатой на голове. Она шла в сопровождении братьев, ибо молодежь добиралась в селение, где жил Андре, кратчайшим путем, где повозке было не проехать, — и потому она шла в сабо, а ни разу не надеванные туфли несла в руках: она наденет их при входе в церковь. Парни обогнали ее на тропинке, и теперь они, в костюмах из черного сукна, отирая пот со лба, рвали в канавах цветы, которые собирались дарить местным девушкам. Солнце сияло, и у Розы сильно билось сердце. Прежде, до того как Андре пошел к отцу просить ее руки, она встречала его толь-

ко раз. Роза заметила, как он издалека смотрит на нее, когда на Иванов день выходила за околицу к кострам, и что-то растаяло в ней, когда она опустила глаза, и заструилось сверкающим водопадом, и он это тоже видел. Точно так же она различала в нем пролегшее черными полосами чувство земли. Они не множились параллельно, как борозды, но шли вверх и поднимали к небу его самого, и она поняла, что именно сила полей и почв позволяет Андре разобрать ее собственный язык воды и неба. Потом колесо памяти провернулось еще раз, и она увидела Анжелу и у нее на руках — ребенка, укутанного в белые пеленки. Она раскрыла края вышитого батиста и приняла новорожденную девочку как свою дочь, с душевной легкостью, похожей на эфир с редкими сполохами. Она не могла их точно разобрать, но воспринимала их смысл, так же как в кристальном плеске, который шел от ребенка, звучала весть о сосуществовании двух миров. Каких? Она не знала, но эти миры существовали.

Воспоминания прекратились.

Дождь падал отвесно и остро, как топор. Роза услышала со стороны селения новые возгласы, а ветер тем временем удесятерял свои разрушительные порывы. Она оглянулась и поверх

кровли сарая посмотрела на снежное небо, которое ждало сигнала Марии. И тогда она бросила в ветер все силы сердца жены и матери.

Тем временем люди Жежена отправились за ружьями в мастерскую Шашара, а там их была целая куча. Этот любитель лесных облав ухаживал за оружием с такой любовью, с какой ласкал бы жену, если бы не ценил перья куропатки больше поцелуя. Так что каждый смог обзавестись подходящим оружием и на секунду задержаться, чтоб выслушать наставления Жежена. Это было скорее предположением, но с учетом ситуации не зазорно было высказать свои соображения, чтобы хоть чем-то заняться.

— Хорошо бы прорваться, — сказал он, — и тут, сдается мне, ружья не помешают.

— Ты что же, думаешь, там парни в засаде? — спросил Рири.

— А как прорваться-то? — засомневался Риполь.

— Может, и выгорит, — сказал Леон Сора, который при всей искренней удрученности происходящим втайне ликовал от сознания, что есть у него еще порох в пороховницах и что рановато ему на кладбище. — Только мешкать нельзя, — добавил он, указывая на крышу.

Только не надо представлять, будто они беседовали вполголоса, стоя в уютной мастерской, где приятно пахло тюленьим жиром и выделанной кожей. Даже внутри приходилось орать во все горло, и надо было срочно уходить, как приказала Мария и как они сами твердо знали, потому что видели свою обезглавленную церковь под открытым небом. Но снаружи разговаривать было вообще невозможно, и Жежен рискнул задержаться еще ненадолго. Он хотел, чтобы парни хорошенько усвоили одну очевидную вещь, которую он хотел им втолковать.

— Как надо действовать, если бьешь куропатку на лету, а ветер сильный? — проорал он.

Это было проще простого и даже не требовало ответа.

— А как подстрелить дичь из лука?

Это тоже было просто, но чуть менее просто было связать между собой две эти мысли, которые у Жежена в башке, видимо, как-то сложились. Несмотря на размах гончей охоты и облав, во всей округе традиционно любили эту запретную форму промысла. Стрелять из лука было запрещено, потому что лук использовали браконьеры, но все ценили этот вид охоты и ставили выше других. Этим увлекалось не так много людей,

за неимением снаряжения или нужной сноровки, но все же было человека три-четыре, охотно сменявшие ружье на тетиву и стрелы. Их сильно уважали, потому что в этой игре побеждал только тот, кто достаточно хорошо знал всякую дичь, метко целился, бил без промаха и досконально изучил всякие уловки подкрадывания, особенности рельефа и направления ветров (а что толку оказаться в двух шагах от косули, если легкий ветерок ненароком дунет ей в ноздри жеваным табаком?). Словом, в этом поединке, где когда-то блистали обнищавшие дворяне нашего края, сходились древние природные силы — человека и лесов, которые в день погони за дичью снова становились основополагающей материей и колыбелью первичного осмоса и братства. Луки, которые служили для этого дела, не имели ни прицела, ни единого аксессуара из тех, что расплодились во времена, когда охоту низвели до уровня развлечения и досуга. Они походили на луки дикарей и, лишенные каких-либо приспособлений для прицеливания, требовали во сто крат больше от стрелка. Их можно было еще использовать как багор или посох, потому что простота делала их одновременно изящными и прочными. К этому инструменту испытывали

почтение, ценя его готовность быть таким разноплановым и полезным. Но с особым вниманием знатоки относились к качеству стрел, которые надо было вытачивать так, чтобы и траектория, и удар выполнялись в совершенстве, их носили в колчане со всей бережностью, которой требует превосходная вещь (а что толку оказаться в трех сантиметрах от кабана, если промажешь и не попадешь в милую зверюшку?). А тем временем под шапками у парней все постепенно прояснялось, и они почти слышали там голос Жежена, как всегда насмешливо-поучительный, с той лишь разницей, что им не светило откупорить бутылку и щедро нарубить колбасы. Однако недавнему страху не удалось уничтожить искру возбуждения. Люди не хотели гибнуть раздавленными, как тараканы. Они готовы были легко обойтись без выпивки и свинины, лишь бы понять, что за присказку выдаст Жежен сегодня, и вдруг они поняли все так же ясно, как если бы Марсело произнес вслух: «подбирайся ближе, целься точнее, стреляй под ветер». В целом это проясняло парням, привыкшим проводить воскресенья в дубравах, скрытый механизм происходящего: будем ловчить и упреждать. А то, что они не вполне знали, как именно, не ме-

шало им видеть общую красоту плана. И это приободрило сердца, которые помнили, что с ними — благословение земли.

— Не гнись на ветру и иди напролом! — опять завопил Марсело, и все готовно закивали и крепче сжали ружья.

Они вышли в сумятицу ветров и града, который словно еще усилился, пока они сговаривались внутри. Но крыша устояла. А они тронулись в путь. Несмотря на смерчи и потопы, они медленно и верно продвигались вперед, как будто решимость храбрецов ослабляла хватку бури и каким-то образом делала их невидимыми для врага.

А там, на опушке, разыгрывался наконец первый из актов судьбы, и годы сбивались в водоворот откровений, которые выплевывал в лицо злобный ветер. Прелюдии умирали под ледяными клинками дождя, и сцена истории с каждой секундой становилась все ужасней и все яснее.

Мария долгое время стояла неподвижно, несмотря на трагедию, разыгрывавшуюся в селении. Она чувствовала дружеское присутствие тех, кто ждал за снежным небом, она слышала голос другой девочки, которая шептала ее имя, и видела пейзаж, уже приходивший к ней

во снах. Туда вела дорожка, вымощенная черными плоскими камнями, под сенью резной листвы, затем вы попадали в деревянную беседку с проемами без стекол и занавесок, а в конце был деревянный мостик над туманной долиной. Но Марии никак не удавалось разобрать, как все это надо использовать, а между тем люди гибли, и в ледяном воздухе шепотом проносилось любимое имя Евгении.

От нахлынувших картин она даже пошатнулась. Сначала она увидела деревенскую дорогу, где парни в тесных воскресных костюмах охапками собирали полевые цветы, потом окно и светлеющее небо зимнего утра, где в навеки остановленном беге застыли две звезды, и, наконец, незнакомое кладбище под проливным дождем — вода пенилась и отлетала на гранитные плиты. Обычно образы ее снов имели точное жизненное воплощение, как поля и зайцы, но эти были размытыми и местами искаженными, и Мария не могла разобрать ни лица парней, которые перебрасывались шутками под июльским солнцем, ни фамилии и даты, вырезанные на кладбищенских плитах. Но ее изумило, что образ можно передать сквозь сражение, потому что она знала, что воспринимает его глазами матери.

Возникли и другие картины, которые шли из памяти Розы. Мария вступила с ней в некую форму общения, какой не знала ни с кем, даже с Евгенией в момент исцеления или с Андре во время долгих молчаливых взглядов.

Образы выплескивались и проплывали мимо, там были деревья и тропы, вспышки пламени в зимней ночи, пристройка под серой черепицей, куда в холода ходили за дровами, и размытые лица из воспоминаний, на миг оживающие в улыбке.

Она увидела старую женщину с выцветшими глазами, которая улыбалась, зашивая старую вуалетку, и поняла, что это бабушка в те времена, когда сама она еще не родилась. Долгая череда женщин…

Она увидела их лица, они сливались воедино и уходили в глубь веков. Столько могил, и столько женщин, которые вечерами пели колыбельные песни и выли от горя, читая военные письма. В последнем стремительно промелькнувшем хороводе она различала каждое лицо и каждую сверкнувшую слезу. Потом все женщины исчезли. Но в вихре обобщенной памяти Мария расслышала их послание.

И Клара в Риме тоже получила это послание

от женщин, которые говорили Марии, что она — одна из них и что верность роду превыше смерти. И тогда она услышала, как маленькая француженка спросила:

— Как тебя зовут?

Петрус
Друг

— Tu come ti chiami? — перевел Маэстро.

— Mi chiamo Clara, — сказала она.

И он снова перевел.

— В какой ты стране?

— È l'Italia, — ответила она снова.

— Так далеко, — сказала Мария. — Ты видишь бурю?

— Да, — сказала Клара. — Ты тоже можешь меня видеть?

— Да, но никого больше не вижу. Хотя там есть мужчина, который говорит по-французски.

— Я вместе с ним и с другими мужчинами, они знают.

— Они знают, что мне нужно делать?

— Не думаю. Они знают зачем, но не знают как.

— Время не ждет, — сказала Мария.

— Время не ждет, — сказал Маэстро по-французски, а потом по-итальянски. — Но у нас нет ключей.

— Откровения придут не одни, — сказал Пет-

рус, — и в этот час небо не совсем на нашей стороне.

— Кто это говорит? — спросила Мария.

— Петрус, слуга покорный, — представился он по-французски.

— Я тебя знаю.

— Ты знаешь нас всех. И еще ты знаешь свои силы. Твое сердце успокоилось, ты можешь дать им волю.

— Я не понимаю, что должна делать.

— Клара будет направлять тебя. Ты можешь еще некоторое время сдерживать бурю?

— Я не сдерживаю ее. Погибли люди.

— Ты сдерживаешь ее, и мы тебе помогаем. Если бы не ты, от селения и от этих земель ничего не осталось бы. Мы сейчас поговорим с Кларой по-итальянски, но мы помним про тебя и скоро к тебе вернемся.

Потом Петрус обратился к Маэстро:

— Ключ в рассказах. Клара должна знать.

— Что есть пророчество, если оно открыто? — спросил Маэстро.

— Все то же пророчество, — ответил Петрус. — И возможно, еще свет. Это стоило сделать раньше. Но надо начинать сначала.

В сознании Петруса Клара увидела, как тот же

Маэстро, только на тридцать лет моложе, пожимает руку человеку, похожему на Пьетро, потом идет за ним по знакомым коридорам, увидела мраморные консоли и парчовые гардины, насквозь пропитанные душной и зловещей пылью. Она висела в воздухе над сценой, неопределенной и жуткой, и бросала хищную тень на приветливое лицо мужчины.

И тогда Роберто Вольпе открыл дверь какой-то комнаты, и Маэстро оказался перед картиной, знакомой ей с первого дня.

— Из нашего Храма я мог видеть и изучать искусство людей, — сказал Маэстро. — Меня всегда зачаровывала их музыка и живопись. Но эта картина была иной.

— Ты должна понимать, как устроен наш мир, — вставил Петрус. — Это мир без вымысла.

— Ты говорил, что эльфы не рассказывают историй, — заметила Клара.

— Эльфы рассказывают истории не так, как люди, но, главное, они их не выдумывают. Мы воспеваем прекрасные дела и великие подвиги, сочиняем оды озерным птицам и гимны красоте туманов, мы славим то, что существует. Но никогда не позволяем вмешиваться воображению. Эльфы умеют восславить красоту мира,

но не знают игр с реальностью. Они живут в мире роскошном, вечном и неизменном.

— Я любил творения людей изначально, — сказал Маэстро. — Но в тот день я открыл для себя нечто новое. Роберто Вольпе привлек внимание совета, потому что сделал нечто, и сегодня продолжающее влиять на нашу судьбу. Я перешел мост и встретился с ним.

И он показал мне картину. Я уже видел разные варианты оплакивания Христа, но это было что-то совсем иное, и я испытал огромное потрясение. Хотя это была привычная сцена: Богородица и Мария Магдалина склонялись над Иисусом, снятым с креста, слезы женщин и распятый в терновом венце. Но с первого взгляда не оставалось сомнений, что это оплакивание написано эльфом. Я понял это, едва увидев картину, и проведенное мною расследование подтвердило это. Один из нас четырьмя веками раньше покинул наш мир, чтобы создать это. Он взял человеческое имя и стал фламандцем — мы полагаем, он жил в Амстердаме, — и изобразил величайший вымысел рода человеческого с несравненным совершенством.

— А что сделал Роберто? — спросила Клара.

— Кого-то убил, — ответил Маэстро, — но этот

рассказ не для сегодняшнего дня. Самое главное, что, стоя перед картиной, я принял то же решение, что и тот, кто ее написал. И испытал самое прекрасное чувство за всю мою жизнь. Прежде я тосковал по человеческому искусству. Теперь передо мной открылся путь, прочерченный этим неизвестным живописцем, — путь перехода на ту сторону моста и полного погружения в музыку иного мира. Не я один открыл этот путь: другие поступали так же до и после меня, но с иными побуждениями.

— Некоторые хотят конца людского рода, а некоторые — единения с ним, — заметила Клара.

— Единение — вот смысл фламандской картины, — сказал Маэстро, — и точно так же полотна Алессандро говорят о желании перейти на ту сторону. Поразительно, почему мы так долго не слышали и не понимали этого призыва, этого стремления к переходу. Тем более что незадолго до того я совершил еще одно открытие. Оно случилось благодаря эльфу, которого ты хорошо знаешь и который превосходит проницательностью мудрецов и вождей. Я тогда еще был Главой нашего совета и отправился читать старинные тексты в библиотеку нашего мира. Я искал нечто,

что помогло бы мне понять времена, в которых мы живем, но в тот день ничего не нашел.

— Ты был Главой совета до отца Марии?

— Да. До отца Марии, против которого выступал другой кандидат и едва не одержал победу.

— Элий.

— Элий, чей гнев ты видишь сегодня в небе Бургундии. Так вот, по выходе из библиотеки у меня случился интересный разговор с дворником, чье поведение показалось мне странным.

— У эльфов есть дворники? — удивилась Клара.

— Наши библиотеки окружены садами, — вмешался Петрус, — и аллеи подметаются каждый день на рассвете и на закате всех времен года, когда у деревьев есть листья. У нас красивые метлы, а мох повреждать нельзя. Это благородное занятие, хотя меня оно никогда особо не увлекало, но я уже говорил тебе, что долгое время был эльфом не слишком активным. И потом, я всегда любил читать. Мне кажется, я всю жизнь провел за чтением. Я даже спьяну читаю.

— Так вот, дворник не подметал, а сидел под деревом и читал, — продолжал Маэстро. — И читал он так увлеченно, что не слышал, как я подошел. Тогда я спросил, что он читает.

— И я ответил: пророчество, — снова встрял Петрус. — Пророчество? — спросил Глава совета. Пророчество, сказал я. В своде наших поэтических текстов есть один, который не походит на другие. Он включен в собрание стихотворений и песен, в большинстве своем элегических, под названием «Canto de l'Alliance», где славили природные единства, вечерние туманы, чернильные облака, камни и все такое прочее. — Петрус сокрушенно вздохнул. — Но этот текст был иным. Он не воспевал никакое известное событие, ни о чем мне не напоминал, но описывал наш недуг, будто угадывал его заранее, и указывал снадобье так, словно увидел его во сне. Никто никогда не обращал на него внимания. Но когда я прочел его, мне показалось, что мир разорвался надвое и в сердце моем распахнулась дверь. Лишь три стихотворные строчки без начала и конца, но после них вся жизнь целиком, все сто веков чаепития и чудных поэм взорвались и засверкали, как после бокала москато.

Его глаза горели от былого волнения.

— Я прочел текст и понял, что хотел сказать дворник, — сказал Маэстро. — Затем потребовалось убедить и других, кроме меня, и Петрус вложил в это много таланта. С того дня пророче-

ство стало нашим боевым знаменем.

Когда он произнес предсказание, предок вздрогнул, и Кларе показалось, что по его мягкой шерстке молнией пробежал серебристый отблеск.

туманы возродят двое
дети ноября и снега
лишенные корней
сойдутся в последнем единении

— Это единственный вымышленный текст, когда-либо написанный одним из нас, — сказал Маэстро. — Вот почему мы и считаем его пророческим. Он рисует еще не наступившую реальность, но она может нас спасти. Впервые в нашей истории туманы пошли на убыль. Некоторые думают, что в их оскудении повинны люди, что это их беспечность ослабляет природу, другие, наоборот, считают, что беда идет от нас, потому что мы недостаточно едины. Я полагаю, что эти картины призывают нас к единению, я полагаю, что этого Христа написал эльф, но не было никого человечнее его, и что последняя картина Алессандро, хотя и не показывает мост напрямую, является квинтэссенцией моста в наш мир. А потому я верю, что искусство людей дарит нам рассказы, которые мы не могли бы создать сами, а в ответ

наши туманы уносят их за пределы их земель. Пришло время самим творить судьбу и поверить в последнее единение. Слишком много переходов доказывают наше желание вместе перейти один и тот же мост.

— Мы с Марией и есть те двое, дети ноября и снега? — спросила Клара.

— Да, — ответил Маэстро.

— Но ведь есть и другие дети, рожденные в снегах ноября.

— Нет других детей, родившихся от эльфов и людей в пору ноябрьского снега. Однако мы не знаем, что делать с этим чудом.

Клара подумала о людях, одержимых мостами и горами, которые могли бы спасти детей, чтобы они не родились вдали от их сердец, об эльфах — живописцах, дворниках и музыкантах, завороженных творческим гением людей, об этих мостках, перекинутых между двумя мирами поверх бескрайнего простора, размеченного только лучами искусства. И над этими лучами горел еще более яркий свет, заполнявший собой все мелодии и формы и вдохновлявший их своей высшей силой.

— Вселенная — это гигантская книга, — сказал Петрус. — В ней у каждого есть собственная

повесть, она искрится где-то на небосводе легенд и куда-то ведет сквозь пророчества и грезы. Мне этот путь указывает амароне. После двух-трех бокалов мне всегда является одна и та же сцена. Я вижу дом посреди полей и старика, который возвращается с работы. Существуют ли этот человек и этот дом? Не ведаю. Дедок кладет шляпу на буфет и улыбается внуку, который читает, сидя на кухне. Я понимаю, что он хочет, чтобы жизнь и труд у внука были не такими изнурительными, как у него. И потому радуется, что внук любит читать и мечтать, и говорит ему: «Non c'é uomo che non sogni»[9]. Почему я все время возвращаюсь к этой истории? Каждый раз, когда дед говорит это внуку, я плачу. А потом начинаю мечтать.

— Ваши силы связаны с властью вымыслов, — сказал Маэстро, — в которой мы, увы, мало что понимаем.

— Бывает только два случая, когда в этой жизни возможно все, — заметил Петрус, — когда человек пьян и когда он придумывает истории.

Клара почувствовала, как в груди затрепетало знание, идущее из глубины веков, словно все жен-

---

[9] Сноски: 9
Нет человека, который не мечтал бы *(ит.).*

щины сомкнули руки поверх пространств и времен. Этот опыт пришел к ней от Розы, но сейчас она связала живые существа и творения разума. Перед ее внутренним взором встало обширное созвездие. Души и творения размещались на нем, как на звездной карте, и ярчайшие лучи света шли от них из конца в конец космоса, так что какое-нибудь полотно, написанное в Риме в нашем веке, находило путь к сердцам в бесконечно удаленных эпохах и местах. Общая частота волн земли и искусства рождалась и соединяла понятия и сущности, и они находили друг в друге тем больший отклик, чем больше была их географическая взаимоудаленность. Эта единая частота теперь билась не только в слоях ее восприятия, она пронизывала разнородные плоскости реальности и разворачивалась, как сеть, загораясь и преобразовывая материальность расстояний. Чувствовалась мощь природы и мощь человека. И одновременно Клара воспринимала вереницу образов, которые сменялись за долю секунды, но сопереживание Петрусу выстраивало их в единую историю, такую же запутанную и лиричную, как те, что он уже рассказывал. Оба они подключились к бесконечности связей в эфире и видели мостки, висящие над пустотой, там,

где другие видели лишь одиночество и пустоту. И тогда она заметила мальчика, сидящего в деревенской кухне, омытой вечерними тенями. Старик с лицом, изборожденным невзгодами, кладет свою крестьянскую шляпу на край буфета и устало проводит рукой по лбу. На деревенской колокольне звонят к вечерне, труд закончен, и дедушка улыбается, освещая своей улыбкой всю округу до самых гор, и даже за горами и долинами неизвестные области освещены его улыбкой, и еще дальше она разлетается снопом искр и озаряет такую обширную местность, какую ни одному человеку не обойти пешком.

— Non c'é uomo che non sogni, — прошептала Клара.

— Никто и никогда не входил в мое видение с такой силой, — сказал Петрус. — Я чувствую твое присутствие в самой сердцевине моих грез. — И с нежностью, не скрывая волнения, добавил: — Вы с Марией воплощаете совокупность двух миров — мира природы и мира искусства. Но именно ты обладаешь способностью создать новую повесть. Если столько людей два тысячелетия строили реальность на вере в то, что распятый на кресте человек с терновым венцом на голове воскрес, то не будет абсурдом

предположить, что в этом мире все возможно. Теперь твой черед действовать. Ты видишь души, и ты можешь дать им их легенды и грезы, которые, как мостки, соединят берега, куда стремятся люди и эльфы.

— Мне нужна твоя помощь, — сказала Клара.

— Я всего лишь простой дворник и солдат, — ответил он, — а ты — путеводная звезда из пророчества. Не думаю, что ты во мне нуждаешься.

— Ты был солдатом?

— Я был солдатом и сражался в родном мире.

— У эльфов есть армия?

— У эльфов есть войны, и они так же безобразны, как человеческие. Когда-нибудь я расскажу тебе о своей первой битве. Я был пьян как свинья, но, когда упадешь, можно наделать много бед.

— Ты уже кого-нибудь убивал? — спросила она.

— Да, — сказал он.

— Что чувствуют, когда убивают?

— Страх, — ответил Петрус. — Тебе страшно?

— Да.

— Это хорошо. Я с тобой и не покину тебя ни в войне, ни в мире. Вышло так, что у тебя нет родных, но у тебя есть друг.

И она подумала: у меня есть друг.

— Идет первый бой, — напомнил он. — И нет пути назад.

— Снег, — сказала Клара. — Сон Марии. Земля, небо и снег.

Она встала и пошла к фортепиано, на котором столько раз играла произведения, чья история была ей непонятна. Но греза Петруса дала ключ и понимание часов ее работы с Маэстро. В каждой пьесе скрывался рассказ, рожденный сердцем композитора, и все эти рассказы с самого начала вдруг пронеслись в ее памяти и превратились в грезы, и все они — яркие или угасшие — вписались в великое созвездие вымыслов и легенд. И тогда Клара снова заиграла гимн единению, который сложила в стремлении к союзу и примирению, но придала ему дыхание и слова, пришедшие к ней из сердца Марии.

Храм Туманов
Малый состав Совета Туманов

— Мы снимаем нашу поддержку. Теперь они могут рассчитывать только на свои силы. Скоро все станет ясно.

— Мы получаем сообщения о переходе. Пусть те, кто сменил командование, будут готовы.

— Сбор у моста?

— Где собираться — не важно.

Война

Двое. Дети ноября и снега

Эжен
Все мечты

Защита края рухнула разом. В душе у Марии словно приливная вода отступила в море и остался лишь тоскливый пустой песок. Она знала, что тучные годы межгорья брали силы у фантастических кабанов и серебристых коней, но эта сила была так неотделима от ее собственной, она так привыкла черпать в ней напев и энергию природы, что от внезапного исчезновения ее девочка словно оглохла и онемела, как будто и не было в ее жизни ораторий и гравюр. И она знала, что таков удел обычных людей.

От опушки восточного леса до ступеней церкви разлилось отчаяние, и каждый ощущал себя на краю бездны, разверзшейся под ногами. Отец Франциск и Жежен встали как вкопанные, смятение девочки уничтожило в них то, что поддерживало их в борьбе с бурей. Особенно кюре, сколько ни искал, не мог теперь обнаружить в себе раскрывшийся венчик цветка и, в ужасе от своего вероотступничества, намеревался тотчас после катаклизма исповедоваться епископу.

«Грешен есмь», — твердил он, дрожа от холода и оглядывая окрестность, казавшуюся ему такой же жалкой, как собственная восторженность заблудшего пастыря. Однако святой отец был не единственным, чьи свободолюбивые идеи начисто улетучились. Жежен ощущал, как в нем шевелится давняя ревность к прежним воздыхателям Лоретты, и то же самое творилось во всем крае из конца в конец: души охватывало отвращение и горечь и все вопияло об убогости судьбы. Люди, шедшие за Жеженом, позабыли даже свои имена, все, кто был в церкви, сникли, словно жалкие бахвалы, от первого же удара бросившиеся наутек, и на опушке понадобилась вся сила Андре, чтобы спасти остатки мужества у трех его товарищей. У людей открывались рубцы и воспалялись раны, которые они наивно считали навсегда залеченными, все чувствовали горькую обиду на злополучную девочку, ввергшую мир в смертельный хаос. И всем казалось теперь очевидным, что не было и нет иного долга, как следовать наставлениям кюре и дижонского епископа, а в них вряд ли входит спасение какой-то иностранки с ее наверняка богопротивными чарами. В конце концов, то, что свербело в них и отравляло души, было лишь старой смесью

из сожалений и давних провинностей, мелких дрязг и страхов, докучной зависти и трусливого отступничества и целой вереницы низостей, зреющих в смрадном подвале страхов, которую своей волшебной силой успели разбавить Мария и ее покровители.

А потом в Риме Клара начала играть — и приливная волна обратилась вспять. Тоска и пустота в душе Марии схлынули и уступили место потоку воспоминаний, где сквозь призрачное лицо Евгении проплывали серебряный конь, причудливый вепрь, туманы, рассказывавшие девочке о ее появлении в селении, и тогдашнее снежное небо, куда тихонько скользили грезы всех людей, а жизнь тем временем распахивалась, и можно было заглянуть внутрь. Музыка и волны природы снова стали доступны ее восприятию. Впервые отрывок, сыгранный Кларой, принес умиротворение ее сердцу, которое терзала смерть Евгении. Сегодня музыка рассказывала историю, оттачивающую волшебную силу Марии.

in te sono tutti i sogni e tu cammini su un cielo

di neve sotto la terra gelata di febbraio

Могучее дуновение пронеслось над опуш-

кой. Казалось, настал конец света. Небо висело над землей грозным и смертоносным сводом, там и сям пронзаемым вспышками молний и рычанием грома, и не осталось ничего, кроме необъятности опасности.

— Все фронты похожи, — сказал Петрус Кларе. — Эта гроза выглядит как война, и то, что видишь ты, видел до тебя каждый солдат.

Туманы снова пришли в движение, теперь они уже не вихрились вокруг Марии, но рождались из ее ладоней. Исполинская молния зависла в небе и осветила разрушения, нанесенные краю. Потом девочка стала что-то тихонько и ласково нашептывать снежному небу.

И тогда… Тогда из конца в конец края заструились все грезы, сливаясь в одну великолепную симфонию, которую Клара видела на небесном экране, и у каждой души была своя бусинка желания, пришитая к натянутому холсту небосвода, потому что каждая душа после отчаяния ядовитых смесей ощущала свое возрождение и верила в возможность побед. И с восхищением взирала Клара на мечту Жежена, где была большая волшебная страна для Лоретты и для него, с окруженным мощными деревьями деревянным домом и террасой окнами в лес. Но то была

не просто мечта человека, который стремится к любви и спокойной жизни. В ней раскрывалось видение земли, принадлежащей себе, прекрасной и справедливой охоты, погожих дней, таких долгих, что и люди могли расти вместе с ними. В этой грезе кто-то клал на крыльцо смиренным людям потерянных детей, чтобы они соприкоснулись с величием; там старые женщины были богаты своей нищетой, потому что знались с боярышником; там тупые деревенские головы хмелели от высокой задачи дать спокойно уснуть маленькой испанке и люди жили в такой гармонии, какая в чистом виде не встречается, но мечта вычленяет ее в химической таблице желаний, ломая границы земли и разума, и эту мечту — с тех пор, как человек стал человеком, — зовут любовью.

Потому что Эжен Марсело обладал высшим даром любви. Именно из этого дара рождалось видение, которое сверкало ярче других вспышек катализованных снов, которым снежное небо заливало край. Как трудна наша жизнь — и какое же это счастье. Так говорил себе каждый мужчина и еще чаще повторяла каждая женщина, а парни тем временем шли против лучников дьявола с новым задором, и кюре возводил глаза

к тучам и утверждался в своей вновь обретенной вере. Повсюду одна и та же радость возрождения грез творила дело мужества и надежды. Со двора фермы Жанно смотрел на поле боя и впервые снова увидел на нем брата с лицом, какое было у того в детстве. Столько лет миновало с тех пор, как его вытеснил зловещий оскал смерти и во рту исчез сладкий вкус счастья, которое в этот день снова выглядело как тело женщины и ее белое плечо, куда можно излить старые слезы, и тогда давний запрет на счастье испарится с грозой, как дымок. И Жанно понял, что скоро женится и что у него родится сын, которому он расскажет о своем брате и о благословенных часах мира, и, обернувшись к старосте, он весело хлопнул его по спине.

— Ну прямо все помолодели! — ответил на его ухарство Жюло.

Староста и сам в душе с наслаждением ощущал поэзию последних часов перед охотой, когда лес принадлежит следопыту, готовящему путь для других. Но теперь холодные рассветные пути наполнились новым обаянием. Староста увидел человека с раскрашенным лицом, который говорил с неподвижно стоящей косулей.

Наконец, поскольку всем одновременно от-

крылись их грезы, в небе Бургундии произошла великая кутерьма, где смешались голубые глаза и радужные перепелки, лесная погоня и ночной поцелуй и огненные закаты, в которых перекликались эхом горы и облака. И в призме каждого образа и каждого желания умещалась целая человеческая жизнь. Столько невыплаканных слез и тайных страданий… Не было человека, кто не познал бы соли слез, кто не страдал бы оттого, что любит слишком сильно или недостаточно, кто не угробил бы часть себя тяжким трудом. И еще не было того, кто не чувствовал бы зловещего креста сожалений, прибитого к нежной стенке сердца, или пыльного распятия или не знал бы, что делает с человеком беспрестанно долбящие душу угрызения совести. Но этот день был иным. Люди передвинули у себя в душе три забытых зубчика чеснока, и сцены повседневной жизни преобразились в картины красоты. Каждый узнал в небе свою грезу и почерпнул из нее решимость и силу, а самая яркая греза из всех — греза Жежена — даровала излишек своей отваги и блеска другим. Так что шедшие за ним парни думали про себя, что в их воинственности есть доля красоты, и были готовы разить без пощады, но без ожесточения

сердца, а только ради того, чтобы к их стране вернулась ее простодушная красота.

Они достигли восточного выгона, потом обогнули холм, из-за которого вылетали стрелы и проносились у них над головой, чтобы ввинтиться в круговерть бури и превратиться в смертоносные бомбы. Но то были стрелы из доброго дерева и перьев, и каждый боец радовался, что можно наконец помериться силой со вполне реальными субчиками, что трусливо прячутся за черной стеной. В тот миг Жежен сделал им знак встать так, чтобы те, на кого они охотились, не могли ни увидеть их, ни учуять их приближения. Так что они подобрались как можно ближе и сделали, как подобает лучникам против лучников, только с оружием современной охоты в руках: пустили пули по ветру. Ах, что за прекрасный момент! То была битва — и одновременно искусство. В ту секунду, когда они встали против войска наемников, им явилось видение голых людей, чье дыхание совпадало с дыханием земли, которой они едва касались, и тогда в каждом из них возникло четкое осознание благородства лучника, непременного почтения к лесам и к братству деревьев, и они поняли, что, как бы черны ни были их ногти,

именно они — настоящие хозяева этих земель. «Тот не хозяин, кто не служит», как сказал бы Жежен, если бы то был час стрелять пробками из бутылок, а не пулями — по злодеям. Секунда прошла, но сознание осталось. Тем временем внезапность атаки в две минуты уложила половину поганого войска, а другая его половина спешно отступала и исчезала по ту сторону холма. По правде говоря, драпали они как зайцы, и несмотря на первый порыв преследовать их, от этой мысли быстро отказались, ибо главной заботой было вернуться в селение. Только торопливо глянули на поверженных врагов, и нашли их такими же отвратительными, как наемники всех времен. Кожа у них была белая, волосы темные, и сзади на боевых доспехах начертан был христианский крест, и парни успокоились, только когда закрыли глаза всем мертвым. Потом они попытались отойти назад к церкви. Но вода преграждала путь, и не осталось дороги, которую можно было преодолеть пешком.

А на опушке история, которую Клара подарила Марии, выразилась фразой, которую та шептала снежному небу.

Она раскинулась, как дерево с тремя ветвями, и в них концентрировались три силы ее жизни,

и не было уже ни итальянского, ни французского, а только звездный язык рассказов и грез.

в тебе все грезы мира
и ты идешь по снежномунебу
под мерзлой землей февраля

Землю Мария знала через человека, который в первую ночь принял ее в дочери, небо — от той, что любила ее, как мать, и связывала ее с долгой вереницей женщин, а снег и фантастические туманы достались ей в дар к первоначальному рассказу о рождениях.

Теперь музыка Клары раскрыла их формулу, и Мария видела, как перед ней встает ее сон. Красный мост забрезжил во вспышке видения. Там мерцали силовые поля неведомого мира, и она видела туманные города, черпающие из них свой свет и жизненные соки. В ней самой свершилась нематериальная смычка. Ее внутренние вселенные сложились в новую конфигурацию, точка слияния поглотила их, и возникла новая органическая единица, сплавленная из всех пластов реальности. Потом эта внутренняя реорганизация вышла наружу и рассеялась во внешней безбрежности. И тогда фортепиано умолкло, и, в порыве полного согласия,

Мария покорилась истории, которую ей подарили. В снежном небе открылся проем во всю даль мира, из этой мерцающей бездны показались странные существа и высадились на заледеневшую землю. Но больше всего деревенский люд поразило то, что Мария все перевернула и небо стало землей, а почва встала на место облаков, притом что по ней можно было ходить, можно было жить и дышать, как обычно. И всем стало ясно, что именно за счет этой перемены мест небо сумело расколоться надвое и пропустить войско, которое пришло оборонять селение. Однако все дивились тому, что ходят по облакам, а битва разворачивается под землей. Андре снял шапку с ушами и, стоя рядом с дочерью, несгибаемый, как судья, точно врос ногами в почву и разрывался между гордостью и испугом, словно его распилили надвое на равные доли.

Опушка заполнилась союзниками.

— Мария — это новый мост, — сказал Маэстро. — Впервые отряд Армии Туманов может сражаться в мире людей, и эльфы поддерживают в нем свои законы.

Земля как будто снова встала на место, и пять десятков странных существ окружили Марию.

Некоторые имели внешность фантастического вепря, другие походили на зайцев, белок или на неуклюжего массивного зверя, может, медведя. Были также напоминающие выдр, бобров, орлов, дроздов и всевозможного рода известных и неизвестных животных, в числе которых, как с изумлением обнаружили люди, сказочный единорог. Однако все пришельцы несли в себе нечто человеческое и конское, и к ним добавлялось еще что-нибудь, и все три сущности не сливались, а поочередно переходили одна в другую, что уже было знакомо Марии и парням. Андре посмотрел на своих соратников. Они тоже скинули шапки и, молодцевато вытянувшись, разглядывали необычное войско. Хотя кровь и стыла у них в жилах, они бы скорее умерли, чем спасовали, и перед единорогами и медведями стояли под ружьем прямо. Настала великая тишина, потом один из пришельцев с небес отделился от толпы себе подобных, чтобы подойти и поклониться Марии. Это был прекрасный гнедой конь, его хвост взлетал вверх и горел как огонек, а когда проступала его беличья сущность, в серой радужке глаз на человеческом лице вспыхивали золотые искры. Он выпрямился после поклона и обратился к Марии на непонят-

ном языке фантастического вепря, которого она видела прежде.

В Риме предок выскользнул из рук Клары и стал расти, пока не достиг роста мужчины, а потом принялся кружить по комнате. И при каждом повороте какая-то сущность выделялась из меховой сферы и, не исчезая, вливалась в хоровод. Клара увидела коня, белку, зайца, медведя, орла, и большого коричневого вепря, и еще много других зверей, которые появлялись в танце, пока к нему не присоединилось все множество воздушных и земных животных. Наконец предок замер, но все животные оставались видимыми в подвижном и полном слиянии друг с другом. Маэстро встал и прижал руку к груди. Глаза Петруса блестели.

— Свершилось чудо! Мы уже потеряли надежду, — сказал Маэстро. — В древние времена все эльфы были предками. Потом они мало-помалу впали в летаргию, и мы рождались без некоторых из своих сущностей, так что под конец их осталось только три, и мы опасались, что в дальнейшем и их не останется. Мы не знаем причину исчезновения сущностей, но это как-то связано с уменьшением туманов. Однако есть по крайней мере две вещи, которые мы предчувствовали

с особой силой. Первое — что ваши рождения как-то вписываются в эту эволюцию и идут ей во благо, второе — что прежнее единство утрачено навсегда, но можно выстроить его по-другому. Недуг, разделивший природу, можно преодолеть путем нового союза.

И Клара увидела слезы в его глазах.

На опушке восточного леса посланец Армии Туманов говорил с Марией. Силой предка ожило время, когда природные виды еще не были разделены, и девочки понимали, что он говорит и что говорит каждая из них. А люди — те не понимали ничего и молча ждали, когда Мария расскажет, под каким соусом их сожрут.

— Мы пришли на ваш зов, — сказал гнедой конь, — хотя вы и не нуждались в нас для этой битвы. Но возникновение нового моста — это ключевое событие, и мы должны знать, какие надежды и какие силы теперь возможны.

— Мне нужна ваша помощь, — сказала она. — Одна я не справлюсь.

— Нет, — ответил он, — это нам нужна брешь, которую ты создаешь и в которой действуют законы наших туманов. Но ты не одна, и, когда дело дойдет до битвы, небо, земля и снег будут на твоей стороне.

— Ты не одна, — сказала Клара.
— Ты не одна, — повторил Петрус.
— Снег на твоей стороне, — добавила Клара.

И эти слова наконец одолели все остальное, потому что бывают снега начала всех начал, как бывают снега конца, они светят как фонари вдоль вымощенной черными камнями дороги и — в нашей душе — как огонь, пронзающий ночь. Знакомый жар объял Марию, и в то же время на незнакомую сцену пала тьма. В лунных сумерках, где периодически слышались отзвуки дальних разрывов, шла вперед колонна мужчин, и Мария знала, что это солдаты-победители, навеки приговоренные к мукам памяти о погибших товарищах, и что в тот час холод разит храбрецов, которых не смогла истребить величайшая война в истории, целыми легионами. Один из этих мучеников поднял голову, и Мария прочла мольбу в его взгляде.

И тут пошел снег.

Пошел белый искрящийся снег, его завеса быстро скрыла всю опушку до затопленного крыльца церкви. Невозможно было различить ни небо, ни землю: они слились воедино под плотными белоснежными хлопьями, с которыми на землю спускалось чудодейственное потепление. О, это

теплое ласковое прикосновение к замерзшему лбу! Не будь они мужчинами, расклеились бы, как последние молокососы. По знаку Марии войско двинулось в путь по извилистой тропе, по которой они прежде угрюмо карабкались вверх, и снег сдувал февраль ноябрем, и оттепель наступала на замерзших полях.

Когда они добрались до центра селения, ветры утихли, буря утратила силу и глухо ворчала между последними домами и выгоном. Но при виде армии, сопровождавшей Марию, жители селения были так потрясены, что в первые мгновения не знали, что делать — обнять девочку или пуститься наутек. Шашар и сыновья Сора радовались, что раньше остальных справились с волнением и теперь могли как ни в чем не бывало стоять посреди единорогов. Другие приходили в себя чуть дольше, пока смогли без паники рассмотреть эту диковинную живность. Наконец, когда ко всем вернулась способность соображать, жители стали гадать, как по законам гостеприимства встречать, например, выдр с человеческими лицами, и все уставились на кюре, ожидая от него каких-нибудь житейских наставлений — ну хотя бы насчет гигантских белок. Андре же смотрел, как снег становится все гуще

и, странным образом, прозрачней и теплее, а тут как раз появились Жанно, староста, Лоретта, Роза и бабульки, которые двинулись к церкви при первых признаках отступления бури, когда вражеские всадники внезапно рассыпались под снегом. Увидев, какое подкрепление пришло на помощь собравшимся в церкви, бабульки и Лоретта стали неистово креститься. Что до парней, то тем было явно как-то не по себе, как после первой родительской порки. Однако тут явились дозорные с известием, требовавшим немедленного решения, и старший Сора, как умудренный опытом солдат, взялся доложить Андре.

— За холмом другое войско, — сказал он, — более многочисленное и с боевым оружием. Наши парни стоят на передовой, но отступать им некуда — вода-то поднялась.

И, смутившись оттого, что сумел так ясно выразиться, разулыбался совсем по-детски, несмотря на трагичность момента.

Мария кивнула. Она закрыла глаза, и снег усилился. Потом та же магия, что насыщала межгорье погожими днями и поддерживала в целости богатство природы, растопила снег, он опал, точно сверкающий занавес, и придвинулся к черной стене. В момент их соприкосновения по земле

пробежала странная дрожь, какое-то чувство, совсем не похожее на сейсмические толчки, и сходное чувство волной прокатилось по отряду эльфов, и всем стало ясно без перевода, что это они одобряют действия девочки. Наконец все увидели, как буря оседает, а злосчастные всадники проваливаются в небытие: буря буквально всосалась внутрь себя, и все поняли, что могущество Марии намного превышает возможности злых сил. На какое-то мгновение все оказались в подвешенном состоянии между памятью о недавнем страхе и облегчением от победы, люди переглядывались, не вполне понимая, что думать и что делать (на самом деле этого мгновения не хватало ни на мысль, ни на дело), и наконец все принялись плакать, смеяться и обниматься, перебирать четки и воодушевленно осенять себя крестным знамением. Лишь один Андре сохранял бдительность, и вместе с ним — странные существа, и все они смотрели только на Марию. Под тонкой кожей ее лица концентрическими кругами шли от глаз и вздувались темные прожилки, все черты напряглись от необыкновенной сосредоточенности, вызвавшей у посланцев небес новый прилив почтения. Андре слышал, как они перешептываются на неведомом языке,

всем своим видом выражая удивление и восхищение, и видел, что они выстроились вокруг нее, как гвардия вокруг главнокомандующего. И тогда Мария обернулась к Андре и сказала:

— Вперед!

Но прежде чем войско тронулось в путь, она призвала к себе отца Франциска.

Жизнь отца Франциска покачнулась вместе с белоснежным занавесом. С началом таяния снега к нему вернулся венчик цветка, бывший с ним в тот час, когда Евгению предавали земле.

Три дня назад он знал только, что венчик — это составная часть любви, охватывающей территорию гораздо большую, чем казематы души. Но в волшебном мерцании снежинок сквозила квинтэссенция вселенной, и смысл собственных проповедей явился ему наконец с библейской очевидностью. Почему именно ему, верному слуге идеи разобщения небесного и земного, с такой неслыханной силой открылась вера в неделимость мира? Именно это угадала в нем Мария, именно поэтому она захотела, чтобы он шел рядом с ней вместе с Андре. В чудовищном озарении огромность грядущего конфликта пронизала ужасом каждый живой атом в его сознании. Люди будут терять близких и мучиться от неожидан-

ных предательств, переживать невиданные бури, дрожать в нечеловеческий холод и, блуждая в потемках страшнейшего дьявольского морока, вдуваемого в человеческие уши, утратят всякую веру и изведают ледяные столпы и неисцелимое отчаяние. Но не для того он внезапно увидел два тысячелетия душевных метаний, чтобы сдаться на милость страха. Дрожь прошла по нему, а потом сменилась надеждой маленького мальчика, игравшего когда-то в траве у ручья, и он понял, что все разобщенное — воссоединится, раздробленное — сложится, иначе все умрут. Отныне самое важное — это желание сберечь единство живого.

Итак, все направились по дороге к выгону и встали в нескольких метрах от холма, где развернулась ружейная битва. Женщины остались в церкви, но отец Франциск шагал вместе с Андре и Марией во главе отряда, и люди уже не удивлялись соседству с единорогами и дроздами. Никто не имел при себе оружия, но все готовы были драться голыми руками и, главное, подозревали, что у их союзников достанет средств в момент завершения дела. Снежное небо двигалось вперед вместе с отрядом, и те, кто хоть немного соображал, понимали, что именно с его помощью

Мария удерживает анклав, где могут сражаться бойцы, возникшие из поменявшихся местами земли и неба. Они дошли до холма и увидели, что дела у Жежена и трех его парней плохи. Хотя вода спала, им некуда было отступить из-за окруживших и жестоко обстреливавших их врагов. Когда раздались первые выстрелы, они укрылись за гребнем земли, но картечь просвистела совсем близко, и враг обошел их с флангов. А ведь они бились вчетвером против пятидесяти, и, хотя несколько злодеев и упали, ясно было, что наши держатся чудом, а один из них лежит на земле и едва шевелится. Только ценой героического сопротивления не дали они передавить себя, как мокриц. Тут идущие на подкрепление почувствовали, как в них растет праведный гнев, какой вспыхивает всегда при виде неравного боя. А они рассчитывали, что и союзники горят тем же негодованием и тем же желанием восстановить справедливость, и потому не удивились, когда гнедой конь наклонился к Марии и сказал ей несколько слов. Сопровождавший их жест делал слова кристально ясными. Они означали: «Позволь нам закончить работу». Она кивнула.

Снег исчез.

Он исчез внезапно, словно за все время битвы

не упало ни единой снежинки. Земля стала чистой и сухой, как летом, и небо между белыми, как горлицы, облачками окрасилось в такую синеву, что люди от счастья чуть не всхлипывали. Такого синего цвета они уже сто лет не видали, а потому еще быстрее пошли на врага, который тут-то как раз и разглядел фантастический батальон. Казалось бы, люди, пускавшие стрелы даже в сверхъестественной буре, лучше других вынесут любое невероятное зрелище, но вместо этого они, казалось, окаменели на месте и потонули в изумлении и страхе. Впрочем, один все же вышел из общего оцепенения и наставил ружье на ряды пришельцев.

Местность преобразилась. Странная это была метаморфоза, по правде говоря, потому что ничего не изменилось ни внешне, ни по сути, — но все составные части пейзажа очистились и предстали в наготе основополагающих энергий. И каждый ощущал это какими-то новыми рецепторами, открытыми тому измерению мира, которое становилось невидимым. Это было просто и великолепно. Союзники, чьей составной сущностью были земные животные, излучали волны вибрации, которые поднимали землю и распространялись дальше подземными толчками, кося

ряды наемников. Орлы, дрозды, альбатросы и все создания с небесной составляющей взлетали, образуя в воздухе поле ряби, блокировавшей врагам цель. Ондатры, бобры и прочие животные земли и рек обращали воздух в воду, которая тут же становилась копьями. Люди едва успели оценить их великолепие, как эти водяные копья стали разить врага не хуже металла или дерева. Но если дьявольская буря, казалось, черпала свои яростные атаки в искажении природных стихий, теперь чувствовалось, что странная армия гармонично вливается в их течение.

— Не гладь кота против шерсти, — прошептал отец Франциск.

Находившийся рядом Андре услышал это и расплылся в улыбке, которая еще ни разу не посещала его всегда сурового лица. Но сегодня он, как мальчишка, улыбнулся забавным словам кюре, и тот ответил ему новой улыбкой, в которой была радость чувствовать себя мужчиной, и они немного поулыбались, стоя под синим небом победы, — потому что шли в разных направлениях, а встретились у одного алтаря братской любви.

Последний враг пал.

Первое сражение закончилось.

Жежен был ранен.

Все бросились к храбрецу, который не мог подняться на ноги. Он получил пулю, и, распахнув на нем куртку, товарищи увидели пятно крови, которое расползалось по его рубашке. Но он улыбался и, когда все собрались вокруг него, сказал громко и отчетливо:

— Подбили меня, гады, но прежде я нескольких положил.

Отец Франциск осмотрел его, потом развязал шарф и стянул им рану.

— Холодно тебе? — спросил он.

— Ничуть, — сказал Жежен.

— Чувствуешь во рту какой-нибудь привкус?

— Никакого — а жаль.

Но он был бледнее призрака, и видно было, что каждое слово дается ему мучительно. Жюло достал из пальто охотничью флягу с водкой и поднес ее к губам Жежена. Тот втянул напиток с явным удовольствием, а потом глубоко вздохнул.

— Сдается мне, пуля чиркнула по ребру, — сказал он. — А если попала внутрь, так скоро все станет понятно, потому что я умру, не повидав Лоретту.

Мария встала возле него на колени и взяла его за руку. Но прежде она обратилась к Кларе.

— Я научилась, — сказала она просто.

Потом она закрыла глаза и сосредоточилась на токах, которые шли через ладонь Эжена Марсело. Надежды не было вовсе, и она поняла, что и он это знает. Отец Франциск тоже склонился возле него.

— Исповеди не будет, братец, — сказал Жежен.

— Я знаю, — сказал кюре.

— В смертный час я не верю в Бога.

— И это знаю.

Тогда Жежен повернулся к Марии и сказал ей:

— Сможешь, малышка? Дай мне мои слова. Я никогда не умел говорить, но все они там — внутри.

И он из последних сил ткнул себя в грудь. Она осторожно сжала его ладонь и спросила у Клары:

— Ты можешь дать ему его слова?

— С кем это ты говоришь? — спросил Жежен.

— Со второй девочкой, — сказала Мария. — Ей ведомы сердца.

— Пусть кюре возьмет его за другую руку, — сказала Клара.

По знаку Марии отец Франциск взял умирающего за руку. Музыка Эжена Марсело, которую Клара слышала через широкую ладонь, сжима-

емую ручкой маленькой француженки, была похожа на грезу, которые она уже видела в небе. Эта музыка рассказывала историю о любви и об охотничьих облавах, мечту о женщине и о лесах, пахнущих вербеной и листвой; она говорила о простодушии человека, рожденного и всю жизнь прожившего в бедности, и о сложности простого сердца с его завитушками мистических кружев. В ней мелькали открытые взгляды и сдавленные вздохи, безудержный хохот и жажда веры, которая ни о чем не просила Господа Бога. Музыка полнилась неотесанностью и щедростью, делавшими Марсело истинным представителем края, где нашла прибежище девочка. Кларе оставалось только сыграть его строгую красоту, которая напоминала ей красоту старой Евгении с ее благородной верой, и пальцы Клары сновали по клавиатуре с великолепной проворностью, пока отец Франциск тоже не услышал эту музыку, рассказывавшую историю Лоретты и Эжена Марсело. Когда фортепиано умолкло, он положил другую руку на лоб Жежена.

— Скажешь Лоретте? — спросил тот.

— Скажу Лоретте, — ответил отец Франциск.

Эжен Марсело улыбнулся и поднял глаза

к небу.

В уголке его рта показалась струйка крови, и голова упала вбок.

Он умер.

Отец Франциск и Мария встали. Люди и эльфы хранили молчание. В Риме воцарилась та же тишина, и Петрус достал свой исполинский носовой платок.

— Все войны схожи, — сказал он наконец. — И каждый солдат теряет на войне друзей.

— Те, кто умер, были не солдаты, а просто добрые люди, — сказала Мария.

Снова наступило молчание. На холме услышали, что сказала девочка, и пытались найти в себе ответ, но его по определению не было.

Но вдруг ответ нашел и обнародовал гнедой конь.

— Вот поэтому нам надо выиграть войну, — сказал он. — Но прежде вы должны проститься с мертвыми.

И он отступил к шеренге своих собратьев, а те как один склонились перед толпой оцепеневших крестьян, и в этом приветствии было уважение и братство старых товарищей по оружию. Мария закрыла глаза, и темные вены под ее кожей проступили сильнее. Тогда туманы двинулись

кругами от ее ладоней и стали обволакивать и скрывать одного за другим странных существ, пока не наступила очередь посланца, который улыбнулся им и махнул рукой, прежде чем исчезнуть в свой черед. Во всем краю осталась лишь горстка людей, разрывающихся между горем и отупением, которых отход союзников оставил беспомощными, словно дети. Какое-то время они и чувствовали себя сиротами, брошенными в горе, но потом взяли себя в руки. Ведь они потеряли друга и теперь обязаны отдать дань той дружбе, которую он выказывал к ним до самого порога смерти. И потому они встали в строй и постарались нести своего павшего собрата достойно, так чтобы можно было представить его вдове. Леон Сора как старший принял эстафету и подвел итог сражению словами:

— Они его подбили, но прежде он нескольких положил.

Когда соратники приблизились к церкви, где ждали женщины и дети, Лоретта вышла к ним навстречу. Она знала. Темный шрам боли изменил ее лицо, но она выслушала отца Франциска, который сказал ей слова, которые Эжен хотел, чтобы она услышала.

— Вот слова от Эжена Лоретте, сказанные моим

голосом, но от его сердца: любимая, я тридцать лет шагал под небом и ни разу не усомнился, что жил славно, ни разу не пошатнулся, ни разу не оступился. Я был как все, кутила и горлопан, и глуп и пуст, как воробьи и павлины, я утирался рукавом, носил в дом грязь на башмаках, случалось и рыгнуть под гогот и пьянку. Но в любую грозу я не склонял головы, потому что я любил тебя и ты тоже любила меня. Эта любовь не знала шелков и стихов, а только взгляды, в которых тонули наши невзгоды. Любовь не спасает, она воспитывает и растит, вынашивает в себе то, что освещает жизнь, и ведет нас в темном лесу. Она таится в серых буднях, тяжелой работе, бесцельно потраченных часах; она не скользит на золотых плотах по сверкающим рекам, не поет, не сверкает и никогда ничего не заявляет вслух. Но поздним вечером, когда в доме подметено, угли закрыты в печи и дети уложены спать, поздним вечером, в постели, в медленных взглядах, без движений и слов, — поздним вечером посреди утомительной и жалкой жизни, повседневного неказистого существования, каждый из нас становится колодцем, из которого черпает другой. И мы любим друг друга и учимся любить себя.

Отец Франциск умолк. Он знал, что в этот миг как никогда близок к миссии служения, придававшей его жизни единственный смысл, уцелевший в оглушительном молчании мира, и предназначил себя до конца жизни быть рупором бессловесных.

Лоретта, прямая, прекрасная, плакала, но черный шрам исчез, и сквозь слезы она слабо улыбалась. И тогда, положив руку на грудь усопшего мужа, она сказала, глядя на Марию:

— Мы похороним его красиво.

Спускалась ночь. Люди собирались под уцелевшие крыши. На ферме Марсело организовали всенощное бдение, остальные разошлись, чтобы все обдумать. Межгорье подверглось жестокому разгрому, и понадобится куча времени, пока наладится какое-то подобие привычной жизни. Сначала надо закопать врагов; поля попорчены, и неизвестно, что с посадками, дома надо подправить, да и церковь латать не откладывая, потому что негоже, чтобы такой кюре искал себе другую колокольню. Наконец все спрашивали себя, что случится дальше. Люди догадывались, что хотя черная рука только отступилась, она выжила в своих пешках и будет готовить новые атаки.

Но после сражения бок о бок с вепрями и фанта-

стическими белками все, несмотря на огорчения и утраты, понимали, что навсегда преобразились.

И потому назавтра, во второй день февраля, на ферме «У оврага» состоялся совет. Его держали Андре, отец Франциск, товарищи Жежена, Роза, бабульки и Мария.

— Я не могу оставаться в селении, — сказала Мария.

Парни кивнули, а бабульки перекрестились.

Потом, глядя на кюре, она сказала:

— Завтра прибудут трое мужчин. Мы уедем вместе.

— В Италию? — спросил святой отец.

— Да, — ответила Мария. — Там Клара, и мы должны соединить наши силы.

Великое молчание встретило это известие. Из произошедшего накануне все поняли, что есть другая девочка, но понятия не имели о ее роли в деле. Наконец, собрав все свое мужество, Анжела спросила:

— И отец Франциск, стало быть, должен отправиться с вами?

Казалось, его исчезновение пугало ее даже больше, чем отъезд Марии.

— Да, потому что он говорит по-итальянски, —

сказал Жюло.

Отец Франциск кивнул.

— Я поеду, — сказал он.

Бабульки собрались уже запричитать, но Андре взглядом заставил их умолкнуть.

— Но мы будем держать связь? — спросил он.

Мария как будто прислушивалась к чему-то, что ей говорилось.

— Будут вести, — сказала она.

Андре посмотрел на Розу, которая улыбалась ему.

— Да, — сказал он, — я верю. Клянусь небом и землей, будут вести.

И вот через два дня после того, как похоронили Евгению и как буря налетела на округу, наступило утро других похорон. Отец Франциск не стал читать мессу в обезглавленной церкви, но в час, когда надо было проститься с семью усопшими, сказал всего несколько слов, но они долго еще отдавались в скорбящих сердцах. Когда он замолчал, на кладбище появилось три незнакомца. Они прошли по центральной аллее под взглядами крестьян, которые снимали шапки и кланялись, когда чужаки проходили мимо них. Приблизившись к Марии, они в свой черед тоже склонили голову.

— Alessandro Centi per servirti[10], — сказал тот, что был похож на императора в изгнании.

— Маркус, — сказал второй, и всем показалось, будто в очертаниях его массивной фигуры на мгновение мелькнуло что-то от бурого медведя.

— Паулус, — представился третий, и присутствующим привиделось, будто весело запрыгала рыжая белка.

— La strada sarà lunga, dobbiamo partire entro un'ora[11], — снова заговорил первый.

Отец Франциск набрал в грудь побольше воздуха и ответил:

— Siamo pronti[12].

В голосе его даже прозвучала нотка гордости.

Алессандро повернулся к Марии и улыбнулся ей.

— Clara mi vede attraverso i tuoi occhi, — сказал он. — Questo sorriso è per lei pure[13].

---

[10] Сноски: 10
Алессандро Ченти к вашим услугам *(ит.).*

[11] Сноски: 11
Предстоит долгий путь, нужно отправиться вовремя *(ит.).*

[12] Сноски: 12
Мы готовы *(ит.).*

[13] Сноски: 13
Клара видит меня через тебя… Эта улыбка также адресована ей *(ит.).*

— Она улыбается тебе в ответ, — сказала Мария.

С тех пор как закончилась битва, девочки видели друг друга на периферии обычного восприятия. Но постоянство этой связи было для Марии как бальзам, необходимый ей тем больше, что ее развернувшаяся сила, болезненно приблизив ее к стихиям, отдалила от тех, кого она любила больше всего. Когда она говорила со снежным небом, то чувствовала в груди силу каждой природной частицы, словно сама стала совокупностью материи. Но это проявлялось и во внутренней перемене, которая пугала ее, и Мария чувствовала, что только Клара сможет смягчить болезненность этого перехода. И потому в ожидании, когда они смогут свободно общаться, держала свои страхи при себе.

Сразу после битвы Клара положила предка себе на колени. Когда Армия Туманов ушла назад в прореху неба, предок снова стал инертным.

— Что будет теперь? — спросила она у Маэстро.

— Мария отправится в Рим, — ответил он.

— Когда я увижу отца? — снова спросила она.

— Не на все вопросы можно ответить сегодня. Но не ты одна живешь в поисках света.

— Мой собственный отец, — сказал Пьетро.

— Переходы, — сказала Клара. — Их ведь должно быть больше, правда? Узнаю ли я когда-нибудь тот мир?

Но Маэстро молчал.

Кларе показалось, что в лице сидящего в кресле Петруса мелькнуло что-то неодобрительное. Теперь, в день новых похорон, они все четверо собрались в комнате с фортепиано.

Маэстро обернулся к Пьетро.

— Друг мой, — сказал он, — ты столько лет соглашался не знать правды. Я обещаю тебе: ты узнаешь ее прежде, чем наступит конец.

И, обращаясь к Кларе, добавил:

— Ты узнаешь миры, которые открыла для других.

Он умолк и посмотрел на Петруса, и Мария увидела в этом взгляде дружелюбие.

— И еще послушай-ка вот что, — сказал Петрус, — скажу тебе как дворник и как солдат. Я бы с удовольствием спокойненько выпивал, пока ты играешь в аромате роз из патио. Можно было бы прохаживаться вдоль книжных стеллажей, или восторгаться красивыми мхами, или поехать с Алессандро в Абруцци и болтать и есть сливы до самой смерти. Но пока в программе значится кое-что другое. Однако я по опыту знаю, что среди

опасностей будут проблески света. Ты узнаешь туманы и живые камни, и ты тоже встретишь свою мечту. Ты познакомишься с Марией, и начнется великая история дружбы, и ты поймешь, что такое общество людей, сплоченных братством пожарищ. Мы отправимся вместе в страну знака горы и будем там пить чай, но однажды, и я благодарю за это туманы, ты дорастешь до бокала москато. И в каждом шаге этого великого странствия я буду рядом с тобой, потому что я твой друг навсегда. И хоть я не похож на героя рассказов, но умею драться и знаю жизнь. И ничто на свете не ценю так, как дружбу и смех.

Петрус плеснул себе москато и удобно устроился в кресле своих грез.

— Но в этот час, — сказал он, — я хочу поднять свой бокал за тех, кто пал, и вспомнить, что сказал сегодня утром отец Франциск в память о великом человеке, которого звали Эжен Марсело:

«Брат мой, возвращайся в прах и запомни на всю вечность рощ и деревьев, как ты любил. Эту победу и эту силу я буду хранить всегда». И наверное, не случайно в его словах прозвучал девиз наших туманов.

Manterrò sempre.

Совет Туманов
Малый состав Совета Туманов

— Этой ночью наших подло атаковали в Катсуре, — сказал Глава совета.

— Каковы потери? — спросил член совета.

— Все погибли, — ответил Страж Храма.

— Это начало новой войны, — предположил другой член совета.

— Мы собрали большую армию, — сказал Глава совета, — несмотря на предательства и переходы отступников. Люди тоже собирают армии. Скоро мы будем сражаться на всех фронтах.

— Сможем ли мы выдержать две войны одновременно? Нужно найти мост неприятеля.

— Мария — наш новый мост. Но никто из людей не переходил на другую сторону, и нам неведомы опасности, с которыми придется столкнуться.

— Это заботит меня меньше, чем нынешние предательства, — сказал Глава совета. — И я верю в силы моей дочери.

— Возможно, как раз в данный момент среди нас есть предатель, — сказал Страж Храма. — Но просветы путей чисты, и в этом анклаве,

по крайней мере, мы можем быть уверены. А силы моей дочери со временем намного превысят мои.

— Члены совета, — сказал Глава совета, поднимаясь со своего места, — сокращение туманов угрожает не только красоте наших земель. Если туманы исчезнут, исчезнем и мы. Однако мир беспрестанно дробится на части и гибнет. Разве в древние времена люди и эльфы не были кровными братьями? Величайшие беды всегда случались из-за разделов и стен. Завтра те, чью жадность подогревает наш враг, проснутся в современном мире — то есть прежнем, лишенном иллюзий. Но мы надеемся на времена единения и храним веру наших древних поэтов. Мы будем сражаться оружием нашего Храма и его легендами, и нигде не сказано, что пути чаепитий и грез не могут победить пушки. Наш мост держится, он концентрирует силу природных гармоний и объединяет живое единым и неделимым сродством. По колее, проложенной девочками, идут люди, которым предстоит построить мосты природы и грез. Действительно ли мы ждем Марию и Клару? Это пока никому не известно. Но они бьются мужественно, и им мы обязаны надеждой, которая нас воодушевля-

ет. Первая битва показала отвагу и сердечность их защитников среди людей. Какой бы оборот ни приняла эта война, помните их имена и сражайтесь с честью в свой черед. А теперь, оплакав тех, кого вы потеряли, ступайте и готовьтесь к битве. Я же сделаю то, что должно. Я буду хранить.

Благодарность и признательность Жану-Мари, Себастьяну и Симоне